

АЛЕКСЕЙ К. СМИРНОВ

Малахитовый бегемот

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ



Алексей Константинович Смирнов

Малахитовый бегемот.

Фантастические повести

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9748830

ISBN 978-5-4474-0558-8

Аннотация

В сборник вошли шесть повестей разных лет – от почти правдоподобных и трагических («Малахитовый бегемот») до гротескных фантасмагорий («Допрос Бенкендорфа», «Служители энтропии»), фантастики («Мор», «Последний путь») и детективного триллера «Хищная оттепель».

Содержание

Хищная оттепель	6
От издательства	6
Глава 1. Кислород Чикатило	9
Глава 2. Прощальный шелест страниц	18
Глава 3. Грачи прилетели	26
Глава 4. Стратегия шапито	33
Глава 5. Концерт ля минор для скрипки	40
Глава 6. Трицератопсы	48
Глава 7. Апартаменты под ключ	56
Глава 8. Швейные принадлежности	61
Глава 9. Билет в цирк	70
Глава последняя.	78
Допрос Бенкендорфа	86
1	87
2	90
3	95
4	99
5	103
6	107
7	110
8	115
9	120
10	125

11	130
12	135
13	139
Конец ознакомительного фрагмента.	141

Малахитовый бегемот фантастические повести Алексей К. Смирнов

© Алексей К. Смирнов, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе
Ridero.ru

Хищная оттепель

Фантазия

От издательства

Рукопись, оказавшаяся в нашем распоряжении, не могла быть опубликована в первоначальном виде. Издательство сочло необходимым оговорить это обстоятельство по той причине, что приглашенный автор, имя которого остается коммерческой тайной, положил документальные материалы в основу самобытного повествования, применив, таким образом, художественный прием, оправданность которого целиком лежит на его совести. Для ясности мы приводим отрывок из оригинала, чтобы читатель убедился в невозможности напечатания этой сумбурной исповеди – потока, как выражаются в литературных кругах, сознания.

Сраные суки! Они заперли меня дома. Мало ли, что четырнадцать комнат. Суки, твари, подонки, они заварили дверь. Они забрали железом окна, кроме мансардного. Там дежурит автоматчик. Мне спускают жрачку в корзине. Дом оцеплен. Телефон отключили, проклятые они гниды, пидоры, пусть сгорят в аду, я все напишу про них, я расскажу про уродов. Это у них называется домашний арест. Они ме-

ня сгноят, но я напишу, как было. У меня нет никакой связи. Они даже электричество перерезали. Нет горячей воды. Педрилы паскудные, болотные гады, будьте вы прокляты.

И так далее, и тому подобное – жемчужины смысла теряются в нескончаемом потоке брани. Читатель не должен забывать, что даже этот фрагмент подвергся нашей тщательной правке: мы многое вымарали, расставили знаки препинания, исправили орфографические ошибки, а после вычеркнули вообще. Тем не менее литератор, которого мы привлекли к обработке рукописи, посчитал возможным вести часть рассказа от лица героини. Если окажется, что речь ее не слишком соответствует манере, принятой в известных кругах, то и за этот недочет несет ответственность наш автор. Мы, однако, видели свою задачу в обеспечении складности и плавности изложения, а потому закрыли, к примеру, глаза на тот факт, что героиня никак не могла быть свидетельницей ряда событий, о которых – как может показаться из текста – рассказывает лично. То, что более или менее относится к собственно ее сочинению, снабжено подзаголовками.

Хотя издательство не понимает причин, по которым Следственный Комитет передал рукопись в наше полное распоряжение, ибо расследование продолжается, и конца ему не видеть, мы выражаем признательность этому уважаемому органу правоохраны.

Из пресс-релиза Следственного Комитета

...Следствием установлено, что Вонина Павлина Пахомовна на протяжении ряда лет злоупотребляла своей должностью в хозяйственном ведомстве Министерства обороны. Вонина, в частности, занималась продажей собственности Министерства самому Министерству по ценам, во много раз превышавшим установленные – предварительно выкупая эту собственность по ценам заниженным и снова от имени Министерства...

он рассказал что там у них внизу
есть галерея лиц и эти лица
свисают с веток в призрачном лесу
как сон который никому не снится

Алексей Цветков

Глава 1. Кислород Чикатило

Рукопись

...Вонина то, Вонина се. Всех собак повесить на Вонину. Вонину запереть.

Я, конечно, перемудрила. Я сама себя вывела из правового пространства. И даже из географии. Моего дома нет на карте. Да и всего района там тоже нет, хотя это центр города. Юридически ни района, ни дома не существует.

Мне очень жалко себя.

Я большая, во мне сто четыре килограмма слоеного мяса. У меня опрелости. Еще начинается диабет. Я смотрю на себя голую в зеркало и понимаю, что совершенно беззащитна. Такая большая, и делай со мной, что хошь. Слезы ручьем, когда оглаживаю загривок – ну и загривок, и пусть, и что. И подбородок. Первый, второй, следующий. Я все подрагиваю от страха и горя.

Разве спасут меня четырнадцать комнат?

Я прячусь в туалет. Сажусь там, потею. Свет не горит. Телевизоры мертвы. Пахнет кашей и кислым бельем. Мне спускают разные крупы, молоко, хлеб. Я высовываюсь в окно и дышу свежим воздухом. Раз в день, в один и тот же час, больше не разрешают. Я забираю корзину и одновременно дышу. Еще я слышу, как стрекочет вертолет. Это по мою душу.

И где-то воют сирены – это уже по чью-то чужую.

Было так: *Дженни туфлю потеряла. Долго плакала, искала. Мельник туфельку нашел и на мельнице смолот*. Мне снилось, будто я это читаю вслух. Вроде бы я, но в то же время не я. Деточка какая-то стоит на стульчике, в бантик наряжена. Херувим в локонах. Утренник в детском саду, и вокруг – никого. И деточка я тошнотная.

Где тот стульчик? Теперь у меня трон. Подарок Сарафутдинова. Он у кого-то изъят и доставил в полночь, с боем часов. Не поленился, все сделал сам. Перетянул атласной лентой поверх розового букета, шофера отослал, принес лично. Сарафутдинов не малого роста, да и не мальчик; одышка у него, солидный живот, но трон еще больше, Сарафутдинова было не видно за ним, только слышно. Как будто это сам трон дышал, тяжело и с присвистом. Не то от натуги, не то от страсти.

Я оделась в бальное платье, приладила диадемку. Сарафутдинов совсем сошел с ума: он и меня поднял – на секунду, конечно, дольше было не выдержать даже ему. Стал цвета кирпича. Усадил, выпил шампанского из туфли, целовал педикюр. Той ночью я написала стихи. Сарафутдинов спал, а я смотрела и слагала строки о его волосах на подушке. Миндальные волосы ежиком. Моя любимая челюсть, трогательные клыки. Я писала, что беззащитна и беспомощна перед ним, не зная, что на самом деле пишу не о себе, а о нем. Он тоже оказался беззащитным и беспомощным. Он ничего

не смог сделать.

Брожу в темноте. Они хотят меня ослепить. Болваны, как же я буду подписывать протоколы?

Детки тоже ослепли. Меня спрашивали, не жалко ли мне деток. Жалко, спору нет, но если честно, то в первый момент, когда я узнала, мне было жальче Сарафутдинова. Мой рыцарь был вынужден копаться в этом говне. Его терзали, на него давили, в нем убывала мужская сила вместе с достоинством.

В самом начале, как только он рассказал мне о детках, я приказала ему заткнуться. Я знала, что существует грязь, и я бы месила ее ногами, как все, ничего необычного, но волею судьбы я вознеслась, и сам Сарафутдинов предпочитал меня видеть на троне, так что окрысилась я по делу. Он-то, в конце концов, ходил по грязи, и я не возражала.

Он приехал, как обычно, к полуночи, уже прилично выпивший. Я налила себе и ему. Он снял китель, ослабил галстук и развалился в кресле. Весь, помнится, оплыл и обмяк и стал не то квашней, не то тестом. На щеках проступили прожилки, похожие на морковь в кислой капусте. Челюсть гуляла.

– Какой-то гад объявился, – пожаловался он сразу, без предисловий любви.

Сарафутдинов был генерал полиции. Я не стыдилась его. Он стал бы министром.

– Детей потрошит, – продолжил Сарафутдинов.

– Заткнись, – ответила я. – Не смей тащить сюда со службы всякую срань. Мне нет до нее дела.

Но он гнул свое, пришлось послушать. Мне стало ясно, что он озабочен всерьез, иначе бы не посмел говорить дальше.

– Маньяк, – сказал Сарафутдинов.

Он лег ко мне и отразился в зеркале. У меня большое зеркало на потолке. Я любила смотреть на Сарафутдинова, он будто пожирал меня, медленно извиваясь, в шерсти, пытался слиться со мной, но я была непроницаема, и он трудился, я вся была под ним – перед ним, бери не хочу, и было удивительно, что такому усердному не удастся меня расслоить. Еще немного, и он бы утонул, растекся во мне мохнатыми щупальцами, но я выталкивала его. Клещ, захваченный каплей масла. Сарафутдинов был прекрасен, мой настойчивый герой. Люблю, когда он топчется мешком под увесистый рок, и много в нем говна, и стены дрожат, и весь он мужик. Прекрасное в нем уживалось с мерзким, и мне делалось особенно сладко, когда я не могла понять, где что. Я млела и отвращалась сразу; это настолько меня возбуждало, что все отверстия на пике восторга молниеносно расслаблялись.

– Соловушка моя, – заворковал Сарафутдинов. – Дынька. Ты моя хурма.

Помню, я дернула за шнурок. Теперь здесь темно, а прежде горели лампы в тысячи свечей. Нам обоим нравилось, когда слепит глаза и видна каждая взопревшая скла-

дочка, каждый прыщик, все волоски. Вот и тогда вокруг вспыхнуло. Я потянулась, немного стиснула Сарафутдинову яйца. Но свет на беду переменял его настроение. Может быть, он не ждал, хотя не понимаю, с чего бы. Мы всегда так делали. Свет навел его на мысли о зрении; мой генерал сморщился, сощурился. Он отлип и распростерся на простынях. С потолка на него глядел такой же Сарафутдинов, как будто настоящий умер, а наверху парила его освободившаяся душа – точная копия тела.

– Он зашивает им глаза, представляешь?

Сарафутдинов сел.

– Прекратил уже, а?

Я осталась лежать. Могу зарычать, да. Подозреваю, что во мне тоже обозначался контраст. Я в теле, но умею быть белочкой, тыковкой и хурмой, Сарафутдинов не врет. А бывает, что белочка вдруг превращается в заведующую овощным магазином. Иногда и газы отходят. Генерал даже вздрагивал, случалось, и сразу пил.

Он и тогда выпил, но не поэтому. Налил себе виски. Сожрал, как воду.

– Развешивает на деревьях, – монотонно продолжил Сарафутдинов. – Выпотрошит, потом застегнет одежду. Расстегнем – все наружу. Шапки наденет, туфельки. И повесит. Но сначала зашьет глаза.

Тут я его и пожалела. Он государственный человек, ему бы армией править или страной. А у него импотенция

от забот.

Я свесилась с ложа, пошарила под кроватью, выудила горн. Проиграла побудку. Мы современные люди и время от времени играли то в пионервожатую, то в медсестру, то в штандартенфюрера. Горн был украшен вишневым бархатным полотнищем, как золоченой бородой. И Ленин вышит. Ручная вязка – хотя о чем я, вяжут колбасу. Короче, штучная работа.

Только генерал не уgomонился и пропустил побудку мимо ушей. Встал, пошел, сунулся в китель. Детки детками, а я любовалась. Не Аполлон, о чем речь – горилла, кабан, но сколько силы! Какая гордая мощь! «Заслуженное брюхо» не комплимент, над ним упражняются в остроумии, но эти шутники просто не видели Сарафутдинова. Он так прекрасен, что я готова одолжить глаза. Вы видели, как шествует павиан? В нем есть величие. Он выше своего уродства. Подозреваю, что он специально натирает себе зад. Плевать ему на эстетику, у него есть клыки. Почти как у Сарафутдинова. Я говорила? Да, говорила. Я описала их в стихах, но это слишком личное, не для прозы. Да, я пишу стихи. Вы против, зайчики? Вы плесень. Навоз.

Сарафутдинов принес в постель фотографии и что-то еще, он называл эти бумаги ориентировками. Я уже поняла, что нынче он не в ударе. Коли так – отчего же не посмотреть, аппетит не собьется.

Там были настоящие ужасы.

Детки маленькие, лет по восемь-двенадцать. Мальчики и девочки. Висят, похожие на прошлогодние яблоки; потом лежат, на снегу. Лица спокойные, но кажется почему-то, что их разглаживали утюгом. Или проглаживали, как мятые страницы. Сначала были разные морщины, гримасы; потом не стало, ротик покрывали, складочки выправили, глазки зашили. Фотограф их взял крупным планом. Очень грубые швы, толстые нитки. Я смотрела и никак не могла сообразить, что в них неправильного; я знаю, не ловите на слове, правильного там ничего, но была какая-то деталь, которая, с одной стороны, так и выпирала, а с другой – пряталась.

– Видишь, целая постановка, – сказал Сарафутдинов.

Я сразу и поняла. Вот в чем было дело. Да он же и говорил: застегивает и вешает. Все деточки аккуратные, словно мама одела; ни тебе шапочка чтобы свалилась, ни развязались шнурки. Даже повязаны шарфики, поверх петель. Значит, их сначала подвешивали, а потом прихорашивали, наносили последние штрихи. Следующий снимок: уже без одежды, на столе. Распороты целиком, зияют черные ямы.

– Это не мы, – пояснил Сарафутдинов. – Не вскрытие. Все вынимает, но животы не шьет, только глаза.

Я швырнула фотографии на пол, всю пачку.

– Дело на контроле, – поспешно хрюкнул Сарафутдинов, словно извинялся. – С меня самого того и гляди шкуру снимут.

Надо было посочувствовать, и я погладила его по шкуре.

Телеса моего генерала дрогнули, они совсем беззащитные, если вблизи. Я против воли представила, как шкура его – не цепляйтесь, что повторяю, шкура и есть – лежит перед камином у министра или кого повыше, и голова с клыками прибита, и перекрещенные сабли под ней.

– Зачем он зашивает глаза? – жалобно спросил Сарафутдинов.

Жалобно – от непонимания и усталости.

– Затем, что больной. Знаешь, Сарафутдинов, ты мне это больше в дом не носи.

– Они еще живые, когда шьет. И потом тоже. Медики говорят, что надо понять, тогда портрет нарисуетя. А как поймешь, что у него в голове? Может, там сидит какая-нибудь галлюцинация. Вторая личность – Сергей Николаевич, например. Или Петрович. И командует. Как его возьмешь, Сергея Николаевича?

Он встряхнул головой, изобразил внезапную бодрость и шлепнул меня по задку. Смешно угадал, звон слился с боем часов.

– Вот разложился Чикатило на атомы. Кислород, водород. А мы дышим. Они везде.

Сарафутдинов встал, упер руки в бока и захохотал.

– Не нравится, да? Дыши глубоко, очень хорошо дыши!

В минуты веселья он притворялся гастарбайтером – а может, и впрямь деградировал. Напрасно кривлялся, поезд ушел, все у него уже висело. Не то перепил, не то по-насто-

ящему переживал из-за деток.

– Стих напишешь про его атомы, да?

– Все мои стихи про тебя, Сарафутдинов. Скотина. Хочешь про атомы? Ладно. Напишу, как они в тебе вертятся. Деток своих приberi, мне деток хватает.

Это была правда, бери не хочу. Брать никто не хотел, зато донимали меня с утра до вечера, хоть в присутствие не ходи...

Глава 2. Прощальный шелест страниц

Рукопись

...У нас на балансе числились детские учреждения, пять позиций. Наследие не знаю, кого. Уже не важно. Черт его знает, зачем минобороны понадобились детский сад и цирк шапито. Там отродясь не было никаких военных. Я называла эти объекты крольчатниками. Номер один, номер четыре и так далее. Что там творилось, я не имела понятия. «Завхоз» – некрасивое слово для поэтессы, но если обнажать сути – кто это написал? не мое – то иначе не скажешь. Мы все были завхозами, работягами, в том числе сам министр. Простая и тяжелая работа, управление всякой собственностью, шило на мыло, зачеты и бартеры, ведомости и счета. Любой труд порождает некоторую черствость, иначе ничего невозможно сделать. Врач выстраивает стеночку, отгораживается; и мент выстраивает стеночку, потому что инфаркт случится, если вникать всей душой; министр вообще ничего не видит, он оперирует статистикой. Уже с уровня районного коммунального хозяйства заведующий возносится достаточно высоко, чтобы не различать людей. Это не хорошо и не плохо, так нужно. Специфика руководства. Вот представьте, что вы командуете собственным телом. Всеми соками, каждой дыркой и даже атомами, среди которых тебе и кислород Чика-

тило, и водород Шостаковича, и сера случайного прохожего. Обращая внимание на все подряд, вы не сделаете и шага. Поэтому существовали крольчатники под номерами от одного до пяти, и я знала, конечно, что под ними скрываются детский дом, детский сад, детская библиотека, дом творчества юных и цирк шапито, но забывала об этом, когда начинались большие цифры.

Не спешите мне завидовать. Сами видите, где я теперь и что со мной. Вот вам другой образ: океан. Шторм. Чем ближе к поверхности, тем опаснее. Да, если буря сильная, то и до дна достанет. Пронумерованные объекты зашевелились, но я-то вообще попала в водоворот или что там бывает, когда штормит. Наверху сцепились, повынимали компромат, и я для кого-то оказалась дубиной, дремавшей в углу, а мой министр – булавой. Мы разлетелись в щепки. А всякая слепая придонная мелочь лишь перетрусила. Меня поставили на якорь, как мину, чтобы в подходящий момент расстрелять из пушки. Надели на ногу браслет. Я чувствую тяжесть, меня тянет на дно. Сам Сарафутдинов и надел: сидел на корточках, загривок наливался, а он пыхтел в мои пальчики, такие перламутровые раковинки, они поджимались, прятались в коверный ворс; Сарафутдинов застегивал ремешок и клялся, что первым перекусит и выплюнет, когда разойдутся тучи, но я понимала, что это не по его клыкам, серьезнейший груз, я на рейде в окружении морского боя. Он все нахваливал этот браслет – и мыться в нем можно, и танцевать

не трудно, мне даже идет, соблазн получился заоблачный, а я же птичка окольцованная в клетке, мне петь не дают, я отвела ножку, мою смешную толстую ножку, и как наподдам ему в хрюшник, даже чавкнуло; мне сразу руки за спину, а всё уже, браслет сидит, я под арестом, но домашним, держать меня незачем – они и не знают, схвативши, как им быть, стоят чурбанами и не пускают, не понимают, что мне такого сделать дальше, чтобы не посадили самих, а Сарафутдинов морщится с пола и машет им – отпустите...

Ладно, продолжим. Ночью он показывал фотографии с детками, а утром началось, хотя я не догадывалась ни о каком начале. Обычный день. Сарафутдинов опохмелился и уехал, а следом и я. Надела шубу и спустилась. Машина темная сплошь, тоже толстая, меня в ней не видно, я расстегнулась. Торпеда, а не машина; от нее расступалась и разлеталась серая грязь – дорога, прохожие, дома, небеса. Приехали в ведомство. День был приемный, два часа для просителей, и явились все пятеро, плюс какие-то еще. Меня насторожило, что с претензиями. Обычно приходят, когда что-то в принципе можно, но им никак, однако эти не могли не сообразить, что нельзя и незачем шлаться, то есть наметились какие-то семена бунта или зародыши мятежа – короче говоря, недовольство с долей истерики.

Но я разрешила впустить. Служба есть служба.

Удивительно, что мужчины. Я даже не знала, что детской библиотекой может заведовать мужик. Это уже предел, даль-

ше падать некуда. Да, она была на балансе, фамилия мелькала, но я не присматривалась, какое мне дело. И вот он вошел, обтерханный, молюю траченный, хотя потрудился вырядиться, потому что все-таки понимал, что не в столовую намылился и даже не в гастроном. Песочный, дикий какой-то костюмчик, стоптанные ботинки, галстук за три рубля. Представьте, ноги вытер о ковер. Не иначе, разволновался. А может быть, дома так делает, воображаю его ковры.

– Здравствуйте, Павлина Пахомовна!

Каркнул, а не сказал, как подавился. Лицо похоже на утюг: затылок квадратный, а рожу будто сплющили под углами. Все выстроилось в ребро – подбородок, шнобель, межбровье. Волосы редкие, перхотные, зализаны к плечи. Глазками прямо искательно жрет. Ходят ко мне просители, как не ходить, такая моя планида и звезда, но этот приперся какой-то классический.

– Присаживайтесь, – говорю, – Дрон Ефимович.

И он с готовностью зашептал:

– Дориан, Дориан.

Я не сразу поняла.

– А? – спрашиваю.

– Дориан, – повторил этот убогий.

Ну да, я немного ошиблась. Откуда мне было знать, кто он? Вошел – я заглянула в бумаги, наспех прочла, что он Дрон. На всякий случай перечитала фамилию – Торт.

– Родители очень любили Уайльда, – шелестел мой заве-

дующий, мой безнадежно директорствующий Дориан. – Я еще не родился, а они уже выбрали имя. Я еще ножкой толкался.

– Что у вас, Дориан Ефимович? – перебила я.

– Библиотека же, Павлина Пахомовна! – Торт изобразил крайнее страдание. – Мне приходят какие-то бумаги, проверки – тоже приходят. Пожарные. Санитарный доктор – вы знаете, наверное, Дмитрий Владимирович...

– К сожалению, не знаю, – отрезала я. – Дориан Ефимович, я очень занята. Изложите, пожалуйста, без предисловий.

– Библиотека, – повторил он, как дунул чем-то после дешевой еды. – Я навел справки – все хором советуют: идите к вам.

У меня чуткий поэтический слух. Я не удержалась.

– Так и выразились – идите к вам? Значит, библиотекой заведуете?

Торт пошел пятнами.

– Боже упаси, это я для краткости. Сказали со всем почтением: обратитесь, мол, к Павлине Пахомовне Вониной. Я, грешным делом, не знал, что нами владеют военные. Сначала удивился, а потом обрадовался. Солдат ребенка не обидит!

– Матрос, – поправила я.

– А? – Он вконец очумел.

– Дориан Ефимович, что вам угодно? У меня мало вре-

мени.

Торт вывалил язык. Я не шучу. Как шелудивая собака. Принялся дергать себя за ворот, ему стало душно, и по ходу разинул пасть. Раз он зашевелился – пахнуло каким-то селом. Ни слова не говоря и не сводя с него глаз, я включила вентилятор.

– Разгоняют же нас, Павлина Пахомовна, – пискнул Торт. – Говорят, что нарушения, но вы знаете, как это бывает.

– Как? – спросила я ледяным голосом.

Он взял себя в руки и кивнул.

– Хорошо, я все понял. Но деток-то куда? На тот свет? Они же книжки читают. Иногда. Уже почти нет, но иногда.

Снова детки. Я вспомнила пальтишки, шарфики, береты. Новогодние краски. Может быть, душегуб помешался на елках и наряжает? Надо будет подсказать Сарафутдинову.

– Здесь военные, Дориан Ефимович. У военных – командование, приказы. Велят на тот свет – отправятся на тот свет. Вы временно занимаете стратегический объект, и обстановка требует его освободить.

Для потомков я объясню, в первый и последний раз. Среди прочего Министерству понадобился склад под новое обмундирование. Модельные шинели, носки с подогревом, ортопедическая обувь, аксельбанты, белые перчатки, фуражки вертикального взлета – тульи стоят торчком и занимают место. Недвижимость стоит дорого, а у нас уже есть, но бюджет

предоставил средства. Я считала это неразумным, библиотеку можно было просто освободить, но транши и гранты полагается осваивать. Поэтому я зачеркнула четыре нуля и выставила объект на торги. Открыла контору, та купила библиотеку, потом продала опять, снова нам, только нули вернула... Да вам ни к чему подробности. На разницу я прикупила десять складов, и еще осталось. Да, прилично осталось. И что? Во всем мире выплачивают комиссионные.

– Деткам надо дома сидеть, нечего шлаться, – добавила я. Напрасно добавила. Но меня понесло.

– Детки, – заметила я, – по улицам ходят, а им потом животы вспарывают.

Торт попятился.

– Что вы такое говорите, Павлина Пахомовна? – спросил он в ужасе.

– Да. Все уже боятся. К вам и так не ходят, а теперь вообще не придут.

Глупость с моей стороны, не спорю. Но Торт меня чем-то бесил. Любоваться в нем было нечем, обычная тля, такие не бесят, я их не вижу. Мне было непонятно, зачем он явился и на что рассчитывал. Мизерабль что-то вообразил, нарисовал какие-то горизонты, причислил меня неизвестно к кому, а я не могла сообразить, какие у него основания.

Наверное, я не выпалась. Аргумент был дурацкий, вообще посторонний – отчасти за неимением лучшего. Что я могла сказать? Мне было незачем отчитываться перед Тортом,

но все же я сочла нужным смягчиться и снизить.

– Решаю не я. Решает Министерство.

Я развела руками и даже печально улыбнулась. Более чем достаточно.

– Но нам-то куда деваться?

Он не о детках заботился, он горевал по своей синекуре. Куда ему, в самом деле? Только в дворники – и то не возьмут. Эта ниша была занята давно и прочно.

– Вы же сами книжки читаете, не только ваши детки, – нахмурилась я. – Про одно вы знаете, как бывает, а про другое не знаете. Разве я непонятно выразилась? Я пешка.

В его собачьих глазах отражалась ладья.

– Я напишу в газету, – пробухтел он и чуть не умер.

– Напишите, – кивнула я. – Соберите марш миллионов. Только сюда не ведите, здесь тесно.

– Ну да, помещений не хватает, – осклабился Торт, а я поняла, что он может укусить со всей дури.

– Охрана, – сказала я в интерком...

Глава 3. Грачи прилетели

Оцепление выставили настолько густое, что оставалось гадать, для чего: то ли от любопытных, то ли ради беспрепятственного перемещения Сарафутдинова. Тот прибыл лично, свитой и транспортом воплощая генеральский авторитет. Генеральские погоны подрагивали, готовые в любую секунду отвалиться, подобно ящерному хвосту, и замениться новыми, еще тяжелее и мягче. Стараниями Вониной вопрос был почти решен. Тяжелая дверь сверкнула, отразила пасмурный снег, и вот Сарафутдинов шагнул из машины в угрюмую зиму, заранее рыча. Фуражка зацепилась, сбилась; налетевшая свита обеспокоенно заплесала. Сверкнуло там и здесь, вдалеке: двор снимали на телефоны. Сарафутдинов наподдал подмерзшее собачье дерьмо, мечтая оцетиниться пулеметами.

О, этот март, проклятая пора! *[От издательства: компенсируя нашему анонимному автору-обработчику моральный ущерб и профессиональную вредность, мы предпочли закрыть глаза на стилистический диссонанс и ненужные отступления.]* Погосты голы – еще не прилетели грачи. Зима распахивает весенний кафтан, надетый для карнавала, и жизнь леденеет при виде морозных змей. И щеку поджаривает солнце; другую обжигает тень. И снег не валит, не кружится, но суется, разреженный, в солнечном свете, как буд-

то по тугому мешку – летнему и лопающемуся от муки – хватили ледяным костылем. Вползает циклон, сугробы покрываются коркой перечного оттенка, шоссе разлетается жижей, и что бы ни ехало – все тарантас по внутренней сути. Уходит – и снова звезды, неотличимые от снежного проса, соседствуют с медленно желтеющей луной, а солнце, спрятавшееся за бруствером, садится на помидор, и разливается красное. Животные чаяния, вегетативные мечты о весне умерщвляются, препарируются, отливаются в ледовые фишки, щелчками сбиваются с белого поля. Мимозы отражаются в мелких лужах; вода господствует в трех состояниях – жидкая, твердая и повисшая в воздухе, где было рискнула зародиться некая эфирная жизнь. Клыкастый Сарафутдинов крушит сугробы; он носит форму, но зрение зоркого мистика способно приметить абрис обязательной дворницкой лопаты, закинутой на толстое плечо.

Он не обязан был присутствовать лично, однако дело зашевелилось под сукном, взгорбилось, утвердилось на коротких ножках и прорвало материю. Высунулась рожа злобного и счастливого карлика, открытая общественному мнению. Сарафутдинов решил появиться. Чем бы ни кончилось, никто не упрекнет его в бездействии.

Труп не снимали: дожидались начальства.

Черный тополь уже был украшен сдутым воздушным шариком и старым носком, брошенным с нижних небес. То и другое зацепилось еще по случаю веселого лета, и проч-

но. Их не сорвали никакие шторма. Нижний сук был сломан, и давно. Кто-то на нем веселился. Либо какой-то бугай, по маете хмельной хотевший повертеть «солнце» за неимением турника, либо местная ребятня, игравшая с тарзанкой. Может быть, кончилось травмой. Сук торчал низко, но все равно был выше человеческого роста. Повесить на нем мальчонку лет десяти не удалось бы без предварительной подготовки. Нужна была скамеечка, а то и лестница. Сарафутдинов огляделся в поисках ящика или чего-то подобного.

– Как он достал?

– Разбираемся, товарищ генерал-майор.

Ответ держал приземистый человек с болезненно красным лицом. Казалось, его растерли наждаком, однако при более пристальном рассмотрении становилось ясно, что это внутренний пожар, который просится наружу и превращается в верховой.

Сарафутдинов посмотрел на темные окна.

– Снимайте, – приказал он.

Краснолицый бросился распорядиться. Полусогбенный эксперт с фотокамерой не глядя попятился, освобождая проход. Люди в спецовках принесли компактную раздвижную лестницу. К Сарафутдинову подошел упитанный капитан.

– Он с такой же пришел, – полицейский шмыгнул носом, заклокотал и выстрелил тяжелым плевком. – Лестница. Затоптал, но мы осторожно копнули. Там две дырки в снегу.

– Фуражка надень, – велел Сарафутдинов.

В минуты волнения он временно забывал падежи, склонения и спряжения.

– В машине, товарищ генерал-майор. Виноват.

Не слушая его дальше, Сарафутдинов захрустел черствым снегом. Труп сняли и положили на брезент. Да, пацану лет десять. Дешевая, довольно грязная куртка застегнута на все пуговицы. На молнию, вероятно, тоже. Шапочка-пидорка надета неглубоко и чуть косо, лоб открыт целиком. Лыжные штаны, сбита обувь.

– Расстегните его.

Служивый шнырь проворно присел на корточки. Точно, есть молния. Медленный, неуступчивый скрежет, как будто по ржавым зубцам. Сарафутдинов шагнул вперед и открыл, что исполнитель расстегнул не только куртку, но как бы сразу всего покойника – под одеждой зияла багровая яма. Внутренностей не было, кровь спустили – не здесь, это делали в каком-то подполье. Мясная пещера, местами шершавая. Слабо пахло железом. Лицо розовато-синюшное, но чистое...

– Умыли, – обронил кто-то.

Веки были прочно прихвачены грубыми нитками. По три шва на оба глаза, хвостики на узлах подрезаны. Нитки порыжели, отверстия чуть тронуты кровяной ржавчиной. Сарафутдинов сел на корточки, принялся.

– Должен был обосраться.

– Так вымыли его, товарищ генерал-майор.

– Личность установили?

– Никак нет. Я дал команду проверить заявления о пропавших...

– Не знаешь, как они у нас регистрируются, да? Почему он такой синий? Снова топили? – Это вопрос он задал подоспевшему эксперту.

Тот кивнул.

– Очень похоже, товарищ генерал. Еще, конечно, не сто процентов... Но цвет лица, отсутствие следов... надо посмотреть конъюнктивы...

Сарафутдинов выпрямился.

– Ищите подвал, – произнес он почти моляще. – Гараж. Цех. Что угодно, где есть ванна или какой резервуар.

– Но может, это квартира... какая ванна в гараже?

– Может, – огрызнулся генерал. – Ты потащишь в квартиру, труп за трупом? Соседи, а? Люди не слепые. Вон, высыпали! – Он дернул головой, указывая на окна, и складчатый загрибок скрипнул на холоде.

– Собака след не взяла, – доложил кто-то.

– Не кормить три дня, – приказал Сарафутдинов.

– Слушаюсь. Товарищ генерал-майор, собака не виновата. Перечная смесь.

– Ты тоже не кушай, дорогой.

– Есть не кушать.

Сарафутдинов стоял, не зная, что еще придумать.

– По квартирам пошли? – спросил он наконец.

– Пошли, товарищ генерал-майор. Но вряд ли будет толк. Вешали, конечно, ночью. Люди мало что спали – еще и темно.

Генерал запрокинул голову.

– А вон же фонарь современный болтается. Сенсорный.

– Разбит уже несколько дней.

– Он высоко, как разбили?

– Стреляли из пневматики, спать мешал, светил прямо в окно.

– Выяснить, кто стрелял.

– Уже выяснили, товарищ генерал-майор.

– Тогда бейте, ищите связь.

– Бьем, товарищ генерал...

– Плохо бьете! – заорал Сарафутдинов, сжимая кулаки и наступая на побелевшего коротышку, о котором не знал, не слышал и видел впервые. – Как это он так угадал, а? Слюшай! Ты мне вообще тут? Что мальчишка висел – все сразу ослеп, да?

Овчарка ела генерала глазами. Она улыбалась, она вывалила язык. У нее была удивительно глупая морда.

– Он обычного роста, товарищ генерал-майор, – коротышка сменил тему, решив доложить хоть о чем-то – может, похвалят. – Или она. Судя по следам. Весит как будто много, но он же нес труп.

Сарафутдинов вынул фляжку, свинтил крышку, выпил, утерся. Не говоря ни слова, пошел к машине. Дверца была

распахнута, и к нему уже тянулись заботливые руки, готовые принять и усадить.

Генерал остановился, не обращая на них внимания. Повернулся.

– Зачем шьет кожу, а? – крикнул он. – Глаза почему шьет?

Глава 4. Стратегия шапито

Рукопись

Когда явился без перерыва второй, я смекнула, что хозяйствующие субъекты договорились. Очевидно, они собрались в приемной всем кагалом и рисовали мысленные картины хозяйствования. Панорамы и полотна, не меньше.

Ведомство у нас военное, в секретарях сидит верный капитан. Муха не пролетит. Я его покрестила в первый же день, как он заступил. Призвала, велела запереть дверь. Капитан молоденький, чей-то сынуля. Он вмиг покрылся пятнами, потому что догадался очень быстро. Я повернулась к нему спиной, навалилась на стол и стала ждать, что он сделает. Секретарь, что греха таить, растерялся. Богатство открылось ему. Засуетился, перепугался; не знал, за что взяться – одной рукой платье задирает, а другой уже обратно натягивал и расправлял складки. Ладонка намокла, стала прыгать. Я дала ему еще полминуты, и мальчишечка справился. Ну, конечно, это был не мой генерал. Сарафутдинов не топчет, а пашет; у него даже не поршень, а коленвал или шатун – короче, плуг для десяти борозд за раз. Капитан по сравнению с ним обладал востреньким карандашиком, который сразу во мне потерялся. Я, как сумела, поточила ему. С тех пор у него сделались оловянные очи. Он и раньше не рассуждал, а после

нашего щекотного внутрисобоя вообще перестал.

Я могла распорядиться перемочить всю эту скорбную кода-
лу, и он перемочил бы. Но передумала. Решила расшвырять
их сама.

– Кто там еще? – спросила я в интерком, как только вы-
ставила Торта. – Пусть заходят по одному.

И зашел директор цирка шапито, нахально назвавшийся:
Петр Бомбер.

Я где-то видела афиши, не к ночи будь помянуты, где этот
тип красовался в цилиндре и полумаске. Я не сомневалась,
что у него псевдоним, но оказалось иначе.

– Приветствую вас, почтеннейшая Павлина Пахомовна!

Этот директор попался наглый, в отличие от библиотека-
ря. Шагнул ко мне, протянул обе руки. Я холодно взглянула
исподлобья.

– У вас пять минут, я очень занята. Присядьте, если хоти-
те, и говорите быстро.

Бомбер сел на край стула. В нем, как и положено циркачу,
угадывалась пружина. Я думала, таких уже не делают. Чер-
ные волосы напомажены, расчесаны на прямой пробор. Уси-
ки, как будто нарисованные углем; алый рот. Мне показало-
сь, что он и глаза подвел.

– Павлина Пахомовна, пощадите цирк. На что он воен-
ным? Ребятишкам радость.

Мне начали надоедать ребятишки в качестве козырей
и джокеров.

– Цирк военным и вправду не нужен. Его построили для семей военнослужащих. Семьи разослали по гарнизонам. Министерство нуждается не в цирке, а в земле, на которой он стоит. Что у вас рядом?

– Кладбище, – бодро и быстро отозвался Бомбер.

– Именно. Его предстоит расширить под нас.

– Семьи возвращаются?

– Придержите язык. У вас все?

Директор цирка вдруг упал на колени и пополз ко мне, простирая руки.

– Павлина Пахомовна! Пожалуйста, не трогайте нас! Фабричный район, новостройки. Людям некуда деться, наше маленькое шاپито – лучик света... Куда, в конце концов, позволите податься лично мне?

Я не стала поднимать его с колен. Этот идиот рассчитывал произвести на меня впечатление скоморошьей раскованностью – может быть, развеселить, но не растрогать, не настолько же он был туп. Совсем наоборот, он действовал по науке. Наверное, книжки прочел, а то и сам догадался звериным умом – ломал, что называется, мне шаблон. Мешать ему было незачем, пусть сломается у него.

– Вы кто по специальности будете? – спросила я дружески. – Коверный? То-то я смотрю...

– Я фокусник, – уныло отозвался Бомбер. – Иллюзионист. Немножко гипнотизер. Детвора меня любит. Я никакой не администратор, мне все это чуждо и неприятно...

– Да, гипнотизер из вас никакой, – кивнула я. – Полный провал. Насчет администратора тоже согласна. Март на дворе! Ваше заведение простаивает. Почему, позвольте узнать?

– Так шапито же, – простонал Бомбер. – Это летний формат...

– А Родина – формат круглогодичный, – сказала я веско. – Ее нужно защищать. Для этого необходима оптимизация инфраструктуры Министерства обороны...

– Ракетную шахту постройте на месте цирка?

– Она уже есть, – шепнула я доверительно. – Не знали? Мы тоже фокусники, товарищ Бомбер.

Горе-директор побледнел.

– Хотите сказать, Павлина Пахомовна, что наши собачки... наши слоны... поют и танцуют над межконтинентальной ракетой?

– Как и все мы, – подхватила я. – Если кому заикнетесь – вам отрежут язык. Я рискую местом, свободой и жизнью, информируя вас.

До мизерабля дошло, что над ним издеваются в пролонгированном режиме. Он, видно, был готов унижаться дозированно, с чередованием смешных и серьезных моментов – по цирковому обыкновению. Но вот он смекнул, что режим для него один, общий. Господин Бомбер вспотел, грим потек. Так и не встав с колен, он полез за пазуху, выдернул какие-то мятые бумаги. Я на секунду подумала, что появится кролик.

– Вот подписи, – сказал он хрипло. – От жителей района. Я кивнула в угол, где штабелем стояли коробки.

– Знаете, что это?

– Нет.

– Подписи. От жителей районов. По самым разным поводам. Положите туда.

Тогда он встал и выложил последний козырь.

– У нас договор с дю Солей.

– С кем? – Я жалостливо скривилась.

– Цирк дю Солей, – пробормотал Бомбер. – Это всемирно известный коллектив. Их гастроли – событие государственного масштаба, и если они сорвутся, будет международный скандал.

– Всемирный коллектив намерен выступить на нашем кладбище? – скептически переспросила я. – Что ж, мы их пустим. Для такого случая мы временно расконсервируем объект. То есть законсервируем. Подготовьте мне справку и перешлите по почте секретарю, я введу в курс нового директора объекта. Мне вызвать охрану, или с вами обойдется?

На лице Бомбера отразилась борьба. Зрелище было немного жуткое: маска пошла рябью. Белила, румяна и тушь заволновались, обозначились кости – скуловые, челюсть, и даже каким-то бесом намекнули о себе носовые хрящи. Лик изготовился лопнуть, наружу рвались острые углы. Руки Бомбера пришли в бестолковое движение. Я невольно приковалась к ним: очевидно, в минуты волнения директор бес-

сознательно отрабатывал актерское мастерство. Из-под манжет запрыгали карты. Облизывая алые губы, Бомбер смотрел мне в лицо, а пальцы выстраивали вееры и гармошки.

– Неужели вы не были маленькой, Павлина Пахомовна?

Голос его срывался; брови, губы и нос наезжали друг на дружку; блестящий пробор ритмично дрожал, как хвост у заводной собачки.

– Неужели вы не помните цирк?

Карты легли передо мной полукругом. Все это были пиковые тузы. Бомбер, продолжая сверлить меня взглядом, махнул рукой, и они стали бубновыми. Он потянулся не глядя и вынул у меня из-за уха шестерку.

– Налепите ее себе на лоб, – предложила я. – Выметайтесь, уважаемый. Библиотекарь, который приходил перед вами... да вы, наверное, видели, как его проводили.

Между прочим, я помнила цирк. Настоящий, в добротном здании, с живым оркестром. По арене кружил мотоцикл с медведем верхом; в коляске сидел еще один. Медведь. Дрессировщик стоял сзади и держал огромное красное знамя. В шапито Бомбера выступали под фонограмму. Его договоренность с иностранным цирком следовало проверить, но участь самого Бомбера была решена независимо от исхода.

– Деткам радость, – прошептал он чуть слышно.

– Сколько там еще человек в приемной? – осведомилась я. Тот облизнул кровавые губы.

– Трое. В смысле наших. За остальных не скажу.

Как я и думала. Они пронюхали и теперь действовали сообща. Удивляться не приходилось – я сама разослала уведомления.

– Значит, два плача о детках я уже выслушала. Осталось три.

Лицо Бомбера вдруг успокоилось.

– Четыре, – возразил он.

– Что, вы еще не наплакались?

– Нет, я закончил. Четвертый будет ваш.

– А, – я кивнула и потянулась к интеркому. Но вдруг моя рука замерла. Я смотрела на нее, как на чужую.

Бомбер тут же кивнул, и она упала плетью.

– Маленькая демонстрация, Павлина Пахомовна, – объяснил он зловеще, хотя я видела, что директор умирает от страха. – Небольшое чудо. Нельзя забирать последнее у креативного класса. Честь имею.

Он вышел, а я озадаченно смотрела на руку. Потом набрала номер генерала.

– Сарафутдинов, – сказала я. – Прижми, пожалуйста, хвост директору шапито.

– Только не сейчас, Пашенька, – пробасил он издалека. – У меня еще один труп.

– Где? – зачем-то спросила я.

– Возле библиотеки.

Глава 5. Концерт ля минор для скрипки

Сарафутдинов не поехал смотреть другие места. Его вызвал министр.

Генерал стал похож на гигантскую испуганную жабу. В нем что-то невольно взбулькивало, и водитель тревожно посматривал в зеркальце, уstraшенный невидимыми внутренними процессами. В глубинах генерала разворачивалась кишечнорастворимая работа, подобная вулканической деятельности. Водителю было нечего бояться, но он боялся. Генерал был предельно физиологичен, и он постоянно воображал, как пассажир взрывается селевым потоком. К тому же генерала могли снять. Водитель и в этом случае ничего не терял, он стал бы возить другого, но все равно было страшно. Пять малолетних покойников за ночь в условиях кампании за счастливое детство могли свалить кого угодно.

Министр был Сарафутдинову земляк.

Генерал считал себя визирем при султане и относился к министру соответственно: ненавидел и преклонялся. Его насторожил дружеский тон. Министр позвонил ему лично и был преувеличенно радушен: тараторил, как на базаре – говорил что-то про плов, которого им нужно покушать, вспомнил родственников, справился о здоровье. Сарафутдинов знал, что это очень плохо. И министр знал, но продолжал ко-

медию, ибо так был устроен этнически. В старину генералу могли отрубить башку сразу после братского обеда с кальяном и плясуньями. Сарафутдинов подыграл министру, ведомый тем же звериным мотивом, однако стал мрачнее тучи. Случилась некая неприятность. Покойников было много, он этого не отрицал, но дело, с другой стороны, лишь только началось. Маньяк орудовал месяца полтора, не срок для серьезного следствия.

Министр лично встретил его на пороге, и это вовсе не лезло ни в какие ворота. Тучность Сарафутдинова не помешала ему поклониться коротко, но с фантастической грацией.

– Проходи, дорогой, – трещал министр, ведя генерала под руку. – Никого не пускать! – бросил он секретарше. – Проходи, садись хорошо, кушай фрукты, коньяк!

Шторы были задернуты. Стол оказался и впрямь накрыт – на скорую руку, но со вкусом. И не стол – столик. Он ломился от винограда и хурмы, зажатый меж двух колоссальных кресел перед плазменной панелью во всю стену.

Сарафутдинов не прикоснулся к яствам, хотя благодарить и кланяться не перестал. Министр усадил его, сел сам, потянулся за пультом.

– Посмотрим, дорогой! – весело пригласил он.

Генерал ухитрился поклониться и в кресле, послушно полуприкрыв глаза. Министр ничего не сделал, но свет погас. Все вокруг повиновалось ему. Экран зажегся, и Сарафутдинов мгновенно узнал сегодняшнюю жертву номер че-

тыре. Девчонка лет четырнадцати, одетая в красные шелка и увенчанная диадемой, стояла на сцене, изготовив смычок. Вокруг нее подрагивал сумрак – запись была неважная. Скрипачка сверкала черным и красным, выхваченная белым прожектором. Она прижала скрипку подбородком, взмахнула рукой и породила вихрь. Скрипка у нее оказалась электрической. После десятка аккордов вступили другие – невидимые – инструменты: клавишные, ударные, басы. Вспыхнули и заметались разноцветные огни. Мелодия расправлялась в бешеном темпе, подобная огненному цветку; со всех сторон к девчонке потянулись уродливые тени – они ломались в танце, простирали скрюченные руки, сникали, отступали и вновь надвигались. Прядь распущенных черных волос выбилась на лицо и упала на правый глаз. Сарафутдинов с шумом втянул воздух. Этот глаз он видел часом раньше, на фотографии. Тот, разумеется, был зашит. Иначе выглядела на снимке и белоснежная шея: на сей раз злодей увлекся и взял немного выше, распоров свою добычу до самого подбородка.

Силы тьмы, как догадался Сарафутдинов, тоже накатывались все яростнее; по сцене поползли клубы дыма, взметнулись газовые цвета морской волны – очевидно, именно волны они представляли. Слабо высветился задний план, где стояла толпа статистов, безмолвно воздевших руки.

– Ну, ты узнал, дорогой? – осведомился министр. Сарафутдинов кивнул.

– Это, хороший ты мой человек, спектакль театральной студии при Доме творчества юных. Вот у меня справочка, – министр невесть откуда извлек пару сшитых листов, которые все равно было не прочесть в темноте. – Это фантастическая история про глобальное потепление, называется «Хищная оттепель»...

Генерал тоскливо взглянул на зашторенное окно, за которым оттепелью не пахло. Но скоро, очень скоро черный лед разойдется, заструятся бурые ручейки, снег сойдет, и обнажатся новые мертвецы.

– В общем, там такое дело, что все вокруг утонуло, и люди выстроили огромные плавучие города-башни, – продолжал министр. – Их осаждают разные хищные подводные существа, мутанты, пираты... – Он махнул рукой. – Ты знаешь, дорогой. И вот в одной такой башне живет с друзьями юная героиня-скрипачка, на музыку которой почему-то сползается вся эта нехорошая дрянь... злые силы пытаются противостоять, но ничего не могут поделать, они очарованы этой скрипкой, сдаются... Но вижу, тебе это не интересно!

– Мы найдем, кто это сделал, – хрипло сказал Сарафудинов.

– Конечно, найдешь, – уверенно кивнул министр, подал знак, и экран омертвел. Медленно разлилось электричество, наполнившее светильники золотым светом. – Уже десяток трупов, да? И последние пять – только за сегодня, да?

– Так точно, – выдавил тот.

– Этот ролик, – министр кивнул на панель, – уже разошелся по всему Интернету. Из юного дарования сделают мученицу. Нас будут травить – уже начали шельмовать...

– Возьму его лично, – твердо пообещал генерал, не веря себе нисколько и зная, что и начальник не верит.

– Да я же не говорю, что не возьмешь, – министр всплеснул руками, участливо заулыбался, однако в глазах его маячила лютая бездна. – Я тебя пригласил, чтобы помочь! Ты кое-чего не знаешь...

Сарафутдинов не мог вскинуться целиком, потому что был грузен, и вытянул, сколько мог, только шею.

– Смотри, – посерьезнел министр. – Мальчик был детдомовский. Девочка висел во двор библиотеки, да?

Он тоже стал коверкать язык, но вовсе не от волнения, а из желания обозначить глубинные узы и подчеркнуть, что дело между ними двоими едва ли не родственное, стоящее выше всех прочих соображений.

– Другой девочка играл на скрипке в доме творчества. Четвертый – мальчик, да? – оказался на кладбище, где цирк. Пятый был во дворе детского сада. Я уверен, дорогой, что он туда ходил. Точно тебе говорю!

Генерал бездумно и нервно полез рукой куда-то под себя, чесаться.

Министр помолчал.

– Наверху идет бой, – молвил он удрученно. – Каждый должен определиться со стороной. Военные пошатнулись.

Вай, какие были военные!

– Не улавливаю, товарищ министр, – признался Сарафутдинов.

Тот придвинулся.

– Твой Вонина – он во какой, славный, завидую! – Министр сладко прикрыл глаза и очертил ладонями нечто, долженствовавшее означать женский зад. Потом игриво ткнул генерала пальцем в живот. – Роскошная женщина. Но она делает очень большую ошибку. Она все это продает – библиотеку, цирк, детский сад...

Сарафутдинов наморщил лоб.

– Прошу пояснить, – попросил он жалобно.

Министр развел руками.

– Думай сам, дорогой! Пять объектов – пять мертвецов. Может, военные не при чем, но отмываться все равно не отмоются!

– Были же и другие, – пробормотал генерал.

– Э! – отмахнулся министр. – Кто их вспомнит? Кто их будет считать? Тебе будут этих помнить!

Сарафутдинов мучительно соображал. Он никак не мог взять в толк, на что намекает высокий земляк. Если Павлина продавала что-то чужое, то не сама, а потому что ей позволили или велели, хотя могла и сама, если одурела. И если в сферах развернулось сражение, то она слишком близко к поверхности. Морской бой незаметен для обитателей дна. Чем ближе к свету, тем ужаснее волны. Внезапно возлюблен-

ная представилась генералу на месте скрипачки: все утонуло в оттепель, плавучие исполины гасят друг друга из всех калибров, со всех сторон подкрадываются хищники – и только она стоит, одинокая, со светлыми стихами о любви. Накатывают пенные валы, бьется скрипичная нота. Ведомственное имущество качается на понтонах.

Министр понял, что дело сдвинулось.

– Значит, под Павлину копают, – констатировал генерал. – И выше берут. Валят министерство. Что же мне делать? Я не могу не ловить маньяка.

Собеседник заледенел.

– Как так – не ловить? Я что, запретил? Очень ловить! Лови!

– Я все понял, – кивнул Сарафутдинов, помедлил и просто спросил: – Как думаешь, чья возьмет?

– Не знаю, – отозвался министр. – Не знаю, дорогой. Я тебя просветил, я тебе сочувствую. Думай своя голова!

– Может, и нет никакого маньяка, – пробормотал тот.

Министр выставил ладони:

– Я так не сказал! Все! Иди, работай и очень хорошо думай!

Крякнув, Сарафутдинов поднялся. Он сдвинул каблуки, и будто сошлись две тумбы. Слоновьи ноги чуть шаркнули, скрипнул загрибок: генерал поклонился. Министр смотрел сочувственно.

Снаружи Сарафутдинов иначе взглянул на весну. *[Изда-*

тельство напоминает, что художественные домыслы о сокровенных впечатлениях и переживаниях фигурантов остаются на совести переписчика.] Потеплеть не успело, однако он вообразил уже не Вонину, а себя самого на льдине посреди зловещего изумрудного океана. Вокруг него скользили плавники, выбрасывались щупальца, и Кракен медленно поднимался из глубины, уже угадываясь в сгустившемся электричестве. Взлетали чернильные фонтаны; растекались ядовитые пятна; медузы, окрашенные во все цвета мира, группировались в обманчиво уютные и даже трогательные зонты, парашюты и дирижабли. Чудовища выстраивались свинячьими клиньями, готовые атаковать друг друга, и генерал содрогался, признавая в них знакомые высокие черты. Багровое солнце садилось, и небо с водой окрашивались кровью. Незримый подводный гад, обремененный специальным заданием, сеял смерть среди малых, которым лучше бы повесить на шею жернов; долг обязывал генерала найти и обезвредить чудовище, но аппаратная мудрость предписывала зашить себе рот и глаза, по образу и подобию убиенных. Лед таял по краю, шел трещинами, и генерал приказывал себе выжить в поединке титанов. Он не хотел похмелья в чужом пиру.

Глава 6. Трицератопсы

Рукопись

– Заводите остальных, – велела я капитану, когда Бомбер выкатился вон. – Там еще трое, правильно?

Мой оловянный солдатик уже вытянулся в струну.

– Никак нет, – возразил он виновато. – Четырнадцать человек.

У меня не собес, чтобы сидеть десятками.

– Пригласите директоров. Там должны быть заведующие детским садом, детским домом и домом творчества. Пусть войдут сразу все. Остальным скажите, что я уезжаю в министерство.

Капитан отрывисто кивнул. Я обошла его стол, толкнула грудью. Мой адъютант попятился, уперся в стену.

– Дверь запири на минуту.

Он скользнул приставным шагом, щелкнул ключом, вернулся и вытаращился на потолок. Я пошарила у него в брюках. О нет, это не мой генерал. В штанах у Сарафутдинова всегда было как в паровозной топке или медвежьей берлоге: жарко, мясисто, поначалу немного вяло, зато изобильно. С генералом мне не хватало рта. Капитана мне было мало. Я встала на колени, постояла, но не dokonчила дела. Буратино, а не мужик.

– Хорошего понемножку, – объяснила я, утирая губы. – Плохо кушаете, товарищ капитан.

– Никак нет...

– Значит, не в коня корм. Да и какой ты конь? Пусть заходят.

Я пошла в кабинет, и позади отомкнулся замок.

Ковер пружинил подо мной – не мог, конечно, это меня распирала энергия. Казалось, что я могу совершить все и в любую секунду сделаюсь невесомой, запрыгаю огромным мячом, раздосадованная лишь мелкостью дел, мне порученных. Тут я вспомнила о звонке Сарафутдинова. Мелькнула мысль, что дело действительно неприятное. С другой стороны, мне будто кто-то подыгрывал. Не прошло и получаса, как я попрощалась с Тортом, а близ его библиотеки – моей библиотеки – уже объявился покойник. Только-только я наспиговывала Торта соображениями безопасности для детства и юношества, а кто-то уже управился подвести материальную базу. Лучше, конечно, было бы держаться в стороне от области обитания этого психа. Мне стало бы спокойнее, окажись это какая-то другая библиотека. С иной стороны, теперь я могла показать рвение и закрыть это место прямо сейчас. А завтра продать, наконец, и впредь не иметь к нему никакого отношения.

Бедные детки!

Я так и повторила троим, которые вошли.

– Бедные детки! – скрестила я руки на роскошной моей

груди.

Судя по лицам, они не поняли.

Я предпочла постоять для внушительности, не села за стол. Сдвинула брови, добавила свинца. Они, конечно, тоже не осмелились сесть. Я слышала, как мой капитан за дверью разгоняет второй эшелон просителей.

Первый сделал маленький шажок. Одной ногой. И сразу вернул ее на место.

– Павлина Пахомовна, простите нас за вторжение, – начал он.

Я усмехнулась. Воробей вообразил, что имеет слонику.

– Представьте, пожалуйста.

– Тыквин Андрей Андреевич, – спохватился он. – Я заведу детским садом.

– Как же вы, мужчина, справляетесь? – вырвалось у меня.

На мужчину он, разумеется, не тянул, как и никто из ходоатаев. Толстый – ладно, лысый – тоже не беда, однако ножки такие короткие, что мотня чуть не пол метет. Вот кому было впору заведовать шапито. Будь у меня время и желания, я бы их переставила. Ну, и ручки под стать ногам: еще немного – и кисти росли бы сразу из плечевых суставов. Весь обтекаемый, будто капля под носом; женские плечики Тыквина продолжались в широченные бедра, а дальше он резко сужался, благо ноги не допускали плавного перехода.

Тыквин угодливо забулькал.

– Крутимся, Павлина Пахомовна, изворачиваемся, как

можем, жена помогает.

Пресвятая богородица, он был женат.

Некрасивые люди! И этим сказано все. Сарафутдинов называет их «шерстью». В тюремной иерархии она означает какое-то дно. Откуда ползло это доисторическое счастье, где отсиживалось, чем кормилось? Я думала, таких не бывает. Мне казалось, они засохли во глубине времен – в пыли редакций когда-то передовых журналов среди казенных картонок и шкафов; в президиумах лестничных советов; в культурных парках за шахматами в окружении засранных пионеров. Я полагала, они давно обернулись гербарием, до которого страшно дотронуться – настолько он ветхий. С тех пор, как они объелись белены, пролетели десятилетия. И вот они явились на свет, подслеповатые диплодоки, замшелые трицератопсы – точно, их трое, анатомические мужчины без пола и смысла.

Второй изображал респектабельность. Есть такая порода: реликтовый барин. Толстый серый костюм, жилетка, часы-цепочка, упитанный вишневый галстук. Мягкие щеки, острая седая бородка, очки, дутый перстень, старорежимный портфель. Дома, небось, кутается в истертый халат, не вынимая запонок и любуясь манжетами; восседает за древним письменным, зеленого сукна столом, играет полукилограммовой ручкой – обдумывает афоризм. Он оказался директором детского дома, и я сразу заподозрила в нем извращенца. Представившись, он дальше не успел раскрыть рта, как я его

упредила.

– А к вам идут проверки – независимо от ведомственной принадлежности объекта.

В его утробе бесшумно взорвалось что-то зловонное. Он стиснул губы, чтобы не повалил дым. Я знаю таких. Велеть бы ему раздеться – явилось бы недельное исподнее.

– Вы же Мирон Моисеевич Булка? – зловеще осведомилась я, прошла за стол и заглянула в бумаги, как будто давно что-то знала о нем.

Он собрался и приосанился. Это стоило ему трудов.

– Странная комбинация, – заметила я, ощущая себя в ударе.

Булка зарумянился.

– А вы, – обратила я к третьему, – представляете, как нетрудно понять, Дом творчества юных?

Этот шагнул ко мне на целых два шага и отрывисто поклонился. Еще одно ископаемое, на сей раз вырядившееся в духе стиляги шестидесятых годов. Или пятидесятых, я их не различаю. На языке у меня вертелся вопрос, почему его не приняли, как опять-таки выражался Сарафутдинов, и не закрыли. Это чучело бродило по улицам в дудочках-брюках и полосатом пиджаке – приталенном, с подбитыми плечами; на голове красовался пегий кок. Вместо галстука – ослепительный желтый ромб в разноцветных квадратах. Я могла поклясться, что в шапито он был бы намного уместнее Бомбера. Мерзкие косые височки, узкие темные очки,

удушливый аромат каких-то духов.

– Наверное, вам лучше известен мой сценический псевдоним, – объявил этот тип с неопишуемым нахальством. – Меня зовут Ойчек Молчун. Я чечеточник. Вы не могли меня не видеть, я не однажды был в телевизоре.

– Не видела, – покачала я головой. – Когда это было, до революции? Вы не похожи на молчуна. Но можете называться так, мне все равно...

– Молчун – сценический образ, – не унимался третий – пятый – директор. – А что до революции, то вы, скорее всего, спутали меня с великим Бастером Китоном, комиком без улыбки. Я посчитал разумным заимствовать его метод...

– Это, если не путаю, было немое кино? – подхватила я по наитию, потому что понятия не имела, о ком он толкует.

– Безусловно, – просиял Ойчек.

– Тогда следуйте вашему кумиру во всем. Закройте рот, будьте любезны. У меня мало времени. Я работаю. В отличие от вас троих.

Не стану скрывать – я вела себя с ними не слишком учтиво. Но как иначе обозначить приоритеты и диспозиции?

– Что это у вас? Петиция? Дайте сюда.

Я потянулась за бумагой, которую давно тискал и мял Андрей Андреевич Тыквин. Прощение увлажнилось, мне стало тошно. Булка уже трудился над портфелем, там у него лежала вторая – ходатайство от каких-то попечителей, как он пригрозил.

Я бегло взглянула. Витиеватое послание за пятью подписями: трое присутствующих плюс Бомбер и Торт. Опять мелькнула тревожная мысль: как они скооперировались? Похоже было, что их кто-то наставил и направил. Директор библиотеки не обязан знать ни директора шапито, ни тем более графика распродажи министерской недвижимости. Я вчиталась внимательнее. Да, они всяко не в коридоре спелись. Объекты поименованы, пропечатаны, прошение составлено от имени пятерых и подписано каллиграфически, не на коленке. Под меня кто-то рыл. Мизераблей наставили и подослали, но все это не имело значения, благо меня хранило личное распоряжение министра.

– Ну что же, – молвила я, откладывая бумаги. – Было очень приятно познакомиться сразу со всеми хозяйствующими субъектами, а то все было недосуг. Знакомство наше будет коротким. Я вас увидела, услышала, документы приняла, вы можете быть свободны.

Три уродца потерянно переминались и переглядывались.

– Но позвольте, – сдавленно пискнул Булка. – Как же быть с интернатом?

– Переедете на периферию, – сказала я, хотя не была обязана. – Договоренность с областью уже есть. Вам же лучше – свежий воздух. А в вашем здании будет военное общежитие. Где мне людей селить?

– А в доме творчества? – осведомился Ойчек Молчун. Он спросил подозрительно вкрадчиво.

– Воскресная школа для военнослужащих. Вы разве не в курсе, что в основу нынешней государственной идеологии положена духовность? А у вас в туалетах стоят автоматы с презервативами!

Молчун на то и Молчун, чтобы взорваться. Я знала, что так будет.

Отставной чечеточник затряс пальцем, вновь наступая на меня, и заблажил, забрызгал вдруг слюной:

– Пусть для начала вычешут из бород капушту от суточных щей, да вынут хрящи осетровых рыб! – Ойчек выл, воображая себя витией. – Дождутся, что их опять же по щам перетянут мокрыми... писюнами!..

На последнем слове он сбился, мнимая интеллигентность взяла над ним верх. Впрочем, истерика оставалась истерикой – будучи загнан в угол, он мог и ужалить.

– Вон отсюда, все трое! – гаркнула я и встала.

Откуда мне было знать, что булкиных сирот поставляют на самый верх – я слабая женщина, не искушенная в высших силовых играх. Но это, как говорится, другая история. Правда, она объясняла, с чего вдруг эта компания так оборзела; они чувствовали невидимую поддержку, хотя и не знали заступников.

Но я все равно их выставила.

Глава 7. Апартаменты под ключ

В квартире недавно жили, и человек, остановившийся в прихожей, не хотел знать, как.

– Сергей Иванович, это я, – сказал он в телефон.

Мобильник молчал.

– Вот, Сергей Иванович, пришел я на место, и если навскидку, то все меня как будто устраивает...

Говоривший еще застал жилицу, когда договаривался об аренде помещения; дальше все происходило без нее. Та, похожая на толстую сказочную собаку, только-только переборовшую запой, вышла к нему с грязной ложкой в руке. Она ела кашу. Инфернальная баба разинула пасть, со вкусом облизала ложку квадратным языком, напоминавшим дворницкую лопату, а после вытерла о свитер, плотно облегавший цирротический живот.

Жилица стреляла свинными глазками, поджимала губы. Она догадывалась, что с квартирой неладно, однако держалась уверенно и нагло. Гость, впрочем, не собирался торговаться, и они быстро договорились.

С той встречи ничего не изменилось. Жилицы не стало, а вот ее присутствие по-прежнему улавливалось, как будто она, распертая кашей, взорвалась и рассыпалась на кварки, которые втянулись в сырые стены.

– Так что вы не горюйте, Сергей Иванович. Что поделать,

если нас выселяют! Мы прекрасно устроимся в этих казема-тах.

В комнате стояла вода. Неизвестный то ли строитель, то ли архитектор, соорудил там наклонный каменный пол. Добротное, старых времен каменное покрытие; человек с телефоном не мог понять, откуда взялся такой здоровенный блок полированного гранита. Возможно, был распилен и нашинкован огромный валун, сошедший некогда с ледником. Пол от порога уходил под наклоном к мутному окну с битыми стеклами. Начиная с середины комнаты, в этом естественном косом котловане стояла зеленая вода. В ней кто-то жил. В углу валялись тряпки, которыми вытирали все. Слив в туалете не работал. Близ унитаза поселилась початая банка тушенки, источавшая неимоверный смрад. С потолка на шнуре свисал холостой патрон. Он состарился и покрылся пылью, отчаявшись мечтать о свежих лампах.

– Вы знаете, Сергей Иванович – хочу поделиться с вами, пока никого нет. Вчера я читал Писание, и вот на какие строки наткнулся: *«...жатвы много, а делателей мало; итак, молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою»*. Да это же про меня! Что скажете, Сергей Иванович? Как вы думаете?..

В прихожей по растресканному паркету сновали мокрицы, виртуозно огибавшие ботинки вошедшего. Что-то всхлипывало, где-то низко гудело. Стены хворали кожной болезнью, шершавая сыпь – обнаженная штукатурка – сли-

валась в отталкивающие очаги. Остатки обоев были покрыты бурыми пятнами, похожими на кровавые следы, но это была никакая не кровь, и тем ужаснее они выглядели.

– Давайте, Сергей Иванович, потолкуем о Небесном Царстве. Мы с вами смертные грешники, но мы туда попадем. И знаете, как? Через малых, которые суть ангелы. Спросите меня, зачем я зашиваю им глазки? Можете не спрашивать, я и так отвечу. Чтобы они нас запомнили. Мы въедем в Царство, если позволите выразиться, на их плечах... Мы последние, кто отражается в их глазах. Зашивать же приходится непременно, ибо оттепель, и птички голодные... Они слетаются к древу жизни, вредят херувимам...

Человек прикинул, сумеет ли он исхитриться и добратся до окна, не намочив брюк. Все, чего он хотел – проверить батареи парового отопления. Пошатать трубу. В ней очень кстати завывало, и понеслись бесы – не то веселые, не то скорбные; в трубе причитало и бормотало, она чуть подрагивала, вся испещренная смертными каплями воды. Мужчина плюнул, разулся, закатал брючины и пошел босиком. Лицо его гадливо кривилось. Он пожалел, что не взял рабочим комбинезоном, а лучше – костюм химзащиты.

– Все бы вам помалкивать, Сергей Иванович. Озорник вы! Мало ли, что я рассказывал – не сломаетесь еще раз послушать. Ладно, впитывайте новости. Так вышло, Сергей Иванович, что мы, похоже, попадаем под какую-то программу защиты. Может быть, нас и не выселят. Может, нам повезет.

Не знаю, в чем дело, но гадину, которая хочет продать наше место, собираются скovyрнуть. Раз уж мы оказались поблизости – поможем этому славному делу...

Вода была теплее, чем казалась.

Он дошел до трубы. Все на соплях. Дернул, что было сил, и та не подвела, устояла. Но это до поры. Он оглянулся на сумку, которую оставил на пороге. Та была набита разным железом – ножами, наручниками, пилами и топорами. Пришелец выбрался на сухое место и поискал глазами, чем бы вытереться. Ничто не годилось, тряпье грозило расползтись в пальцах. Выругавшись, он натянул носки прямо на мокрое.

– Натерпелся я с вами, Сергей Иванович!

Мужчина завел глаза к лишайному потолку. Он прикинул, нет ли смысла облагородить самый вход, чтобы внутренность не пугала с первого шага. Немного подумав, решил не обременяться.

– Да, Сергей Иванович. О наших херувимах. Освобожденные от скверны, избавленные от требухи, они украшают лозу подобно дрожащим листочкам...

Он прислушался к шумам. Дом жил прибитой жизнью. Где-то встукивал молотком невидимый сосед. Хлопнула входная дверь: кто-то зашаркал по лестнице, перхая и всхлупывая. Сразу же все и смолкло. Во дворе-колодце полагалось не жить, а долго болеть и медленно умирать. Мужчина постоял, потом повернулся и заглянул в зеркало. Он отразился там темнее, чем был. Шляпа, нахлобученная по брови,

превращала его в идиота. Хотелось схватить шляпу за поля и рвануть вниз, чтобы вышел ошейник, а на макушке осталось бы нечто вроде кипы.

Он улыбнулся от уха до уха, представив это.

Глава 8. Швейные принадлежности

Рукопись

Браслет, надетый мне на ногу, можно перестричь ножницами, и ничего не случится. Мне ли этого не знать. Это разработка нашего Министерства, на которой мы оптимизировали миллиард или два, я не помню. Только резать его незачем, потому что я все равно не выйду, а выйду, так не дойду, а если даже дойду, то не знаю, куда, потому что некуда.

И ножниц в доме нет.

Их изъяли.

Вместе с хирургическими иглами, от крови то ли ржавыми, то ли просто грязными.

День Пяти Мизераблей – да, мне приятно это слово, оно поэтично, а поэзия высока и обращает низкое в небесное – завершился без происшествий. Ископаемые ушли, а прочую публику без шума и скандала выставил мой капитан, и я еще немного поточила ему стерженек или что у него там – коготок, хохолок, я по-разному называла, пока развлекалась. «Писюн», как выразился допотопный чечеточник. Тоже удачное слово, только для улицы.

Я связалась с городским комитетом по культуре и попросила никуда не брать этого хама, когда с домом творчества будет покончено и он останется не у дел. Духовенство строит

новые сорок сороков при подряде Минобороны, а этот носитель прекрасного расписывает, как хорошо перетянуть кому-то по щам.

Потом я поехала домой. В салоне мурлыкала музыка, и во мне лениво слагались хвалебные стихи о Сарафутдинове. *Твой кадык среди плоти, что я целовала... Твоя грудь исполина, где я ночевала... Твои ноги-колонны, что я омывала... Твоя челюсть с клыками поверх одеяла... Жемчужины горного, затерянные в грубой мужественности. Чуть позже, как часто случается в стихосложении, я незаметно переключилась на себя и поменяла размер. Я богата по праву, мне это по нраву... Я красива, и в этом великий закон... Неимущий убог, пусть канает в дубраву... Пресмыкаться и бедствовать он урожден...*

...На пороге я села. Это метафора. Я привалилась к косяку, не веря глазам. Очутись я на Марсе – было бы не так странно. Кто-то разгромил мою квартиру. На первый взгляд, бесцельно, ради искусства хаоса. Многое просто посбрасывали без всякой нужды, расшвыряли, разорвали, разбили; кто-то явился не только искать неизвестно что, но и нагадить. Это было немыслимо. Нигде же не значится ни квартира, ни дом, повторяю, ни целый микрорайон; моего адреса ни у кого нет, у меня пятьдесят степеней защиты, вооруженный консьерж, сигнализация, видеокамеры, частные охранники – в минуте ходьбы. Я бросилась к потайным ларцам: ничего не украли. Не тронули и сейф. Налички в нем было

не больше миллиона, я не храню деньги дома, но откуда могли это знать погромщики?

Я все-таки села, и больше посадка метафорой не была. Мне пришло в голову, что налет одобрили наверху. Никто не проник бы ко мне без высшего дозволения. Консьерж отвернулся, камеры выключили, вообще все здание обесточили, охране велели сидеть тихо. Но кто, почему? Я знала, что в эшелонах происходит волнение. Но мой министр оставался несокрушим, он относился к сонму грозных божеств, которые не проигрывают. Он дважды навещал меня, и я отметила в пуховых перинах, что он не хуже Сарафутдинова. Положа руку на сердце, признаюсь, что он был лучше. Загривок, килограммовые ядра, челюсть, дикий зык на излете соития – все оказалось по моему вкусу. Он не мог мной пожертвовать, я находилась слишком близко к нему. Но кто поднял руку?

Знакомая с детективами, я ничего не тронула и сразу позвонила генералу. Тот ответил растерянно и даже вяло – правда, пообещал немедленно приехать с опергруппой. Я разволновалась всерьез. Я ждала, что Сарафутдинов начнет метать молнии. Он прибыл настороженный, фуражку нахлобучил по самую переносицу. Его внимательные глазки осторожно сверкали из тени двумя яркими точками.

– Работайте, – бросил он подручным, и те принялись за дело. – Идем пить, – приказал он мне, и мы пошли в кухню.

Сарафутдинов никогда не командовал мною. Только в койке. Наши любовные утехы делились на два этапа. Сна-

чала я сама настаивала, чтобы он меня мял и ломал, наседали, нагибал, притискивал, немного шлепал, засовывал толстые пальцы куда не положено и всячески по ходу раскрепощался: взрыкивал, хрюкал, пускал ветры, причавкивал, ронял слюну. Этот первый этап оказывался дольше второго; следующий начинался, когда Сарафутдинов впадал в неистовство и все это делал по собственному почину, без напоминаний и просьб. События резко ускорились; перекрывая ревом ритмичные музыкальные басы, Сарафутдинов разряжался и накрывал меня обессиленной массой. Но то была постель. В остальное время генерал держался кротким зайчиком, потому что между нами существовало расслоение. Или дистанция. Генерал знал, что я принимала моего министра. Для стирания разницы ему пришлось бы принять своего.

Но сейчас он вел себя как хозяин.

Его шестерки трудились, исследуя каждый очаг разгрома, их не было видно. Я слышала их тараканье шебуршание и тьяканье. Кухня тоже оказалась разорена – бессмысленно, как выразился какой-то терпила, и беспощадно. Кто-то залез и просто нагадил. Зачем? Я не находила ответа.

Мы стали пить водку.

– Павлина, – прохрипел Сарафутдинов, – сегодня он вывесил пятерых подряд. В том числе девчонку-скрипачку, довольно известную. Ходил со складной лесенкой, ночью, и вешал. Я эту артистку видел. Такая шустрая, играла фантасти-

ческий спектакль о будущем. Там, значит, везде... наступила оттепель, все растаяло и утонуло... города плавают, вокруг всякие пираты и акулы...

– А почему так сладко? – спросила я. – Ты так про нее говоришь, что неровен час, весь потечешь. Понравилась скрипачка? Может, мне тоже скрипку купить?

– Ты что, ты что? – забормотал генерал, отшатнувшись и защитившись жестом. – Какой сладко, я рассказываю тебе!

– Ты лучше расскажи, кто у меня похозяйничал, – перебила я и выпила граммов сто или сто пятьдесят, сама не разобрала, будто вылила в мойку. – И объясни, как эта сволочь сумела миновать все кордоны. Где записи с камер?

– Камеры были выключены, – Сарафутдинов не смотрел на меня. – Консьержа допрашивают. Он клянется мамой, что ничего не видел, не слышал и просто не помнит.

Я согласно покивала.

– Очень хорошо. Выключены. А он не помнит. Сарафутдинов, прекрати вилять. Откуда ветер? Кому понадобилось меня напугать?

Генерал опустил глаза, налил полстакана и тоже выплеснул в себя, будто в волшебный рукав, из которого хлынут далее блевотные лебеди, пруды, дворцы и прочая сказка. Ему было очень неудобно.

– Павлина, – теперь он не хрипел, а клекотал, – что за объекты ты продаешь? Пять штук. Пять объектов – пять трупов за ночь.

Меня будто под дых ударили. Этого я не ожидала. На миг я потеряла лицо.

– Что – объекты? Почему объекты, при чем тут они?

Сарафутдинов навалился на стол мифическим красным быком, огнедышащим Минотавром; от него несло луком, чесноком и спиртным.

– Павлина, дело плохо. Я был у министра. Наверху идет бой. Ты мухлюешь с ведомственным имуществом – и вот тебе, как на заказ, убивают из детдома, убивают из детского сада, подряд... Тем более сейчас, когда все с ума сошли с этими детьми. Дети, Павлина, нынче политика, от заграницы их спасли, а ты все торгуешь!

– Но этот маньяк и раньше убивал, – пролепетала я. – Ты сам рассказывал, Сарафутдинов...

– Э, мало ли что убивал! Может, он раньше не нарочно убивал! Может, важные люди посмотрели и подумали: ай, как хорошо убивает! Пусть еще немножко убьет для нас...

Тогда я налила себе доверху.

– И что из этого, Сарафутдинов, что теперь делать? Чего ты от меня хочешь?

– Я не знаю, чего хочу, – мой генерал убрался со стола и подвигал челюстью туда-сюда, туда-сюда. – Ты понимаешь, в каком я положении? Если это ихний маньяк, то как мне быть – искать его или нет? А если найду – закрывать или пусть гуляет? Наши верха против ваших верхов, Павлина. Министр мне понятно намекнул! Я его прямо спросил: что,

не ловить? А он мне: зачем не ловить – очень ловить!

– Так что же тебе непонятно?

Сарафутдинов закатил глаза, и на их месте образовались влажные перепелиные яйца.

– Да как же он прямо мне скажет, что не ловить! Он сам не знает! Может, это не наш маньяк, а просто сам по себе... Мне самое время пулю в лоб, вот что. Как ни сделай – все виноват!

– Ну уж пулю, Сарафутдинов. Не смей меня.

Я прикончила стакан и чуть успокоилась.

– Аккуратнее с этой недвижимостью, Павлина. Костей не соберешь. Там едет каток! – Генерал поднял палец. – Воинской не останется, будет лепешка.

Мне вдруг пришла в голову невозможная мысль.

– Послушай, Сарафутдинов. Говоришь, их нынче ночью поубивали?

– Не знаю, когда поубивали, эксперты работают. Но развесили ночью, да. А почему спрашиваешь?

– Сегодня ко мне явились все пятеро. Начальники этих точек. Прибыли дружно, как один. Я, конечно, всем разослала уведомления, но все-таки странно, что они друг о друге узнали и объединились. Их крольчатники ничем не связаны – разве что все они детские.

– И что с того?

– Обожди, не гони. Я раскидала их, но не в этом дело. Вдруг это кто-то из них?

Сарафутдинов тупо уставился на меня.

– Ну да, – продолжила я. – Кто-то один, который душегуб, стоношил остальных, и все они пришли.

– Зачем? – потрясенно отпрянул генерал.

– Тебе лучше знать! – я повысила голос. – Ты же плетешь про интриги, не я! Послал бы ты к ним людей – пусть выяснят, кто зачинщик. Может быть, его-то ты и ловишь.

– Но это же бред, душа моя.

– А он, по-твоему, нормальный?

Сарафутдинов помотал башкой. Не то от выпитого, не то от переживаний он стал из красного коричневым, а также лиловым и сизым, и я забоялась, что его обнимет кондратий.

– Глупость какой-то ты мне сказала, – изрек он в итоге, путаясь в падежах и родах. – Пьяная болтаешь.

– Ну, тогда думай сам, – разрешила я. – Тогда не знаю, какого черта ты вообще заладил об этих трупах. Если заговора нет, то и плевать я хотела! Объясни мне лучше, как так вышло, что мне квартиру перевернули вверх дном. Кто заказал, кто наехал, куда ваши смотрели? Если министры на ножах, то может, твои у меня и рылись?

– Павлина, – зарычал мой генерал.

Тут вошел какой-то пенек, от которого пахло псиной.

– Товарищ генерал, – позвал он негромко. – Можно вас на минутку? Вам надо взглянуть.

Сарафутдинов грузно встал, потопал за ним в прихожую; я допила и направилась следом. В дверях я чуть не врезалась

в сарафутдинову спину – живой комод, перекрывший проем. Пришлось его потеснить.

Сарафутдинову показывали находки: ножницы с иглами, все бурое от крови.

Глава 9. Билет в цирк

Оттепель! [*От издательства: см. выше*] Движение в поднебесье, аромат перемен. Навстречу с фекальных газонов восходит почвенный пар; все перемешивается, имея в себя от всякого жившего и живущего. Разливается влага, оживают чудовища, лениво кружатся города, распространяющие эфирные кольца; сверху взирают ангельские полки, упрятанные в небесную сбрую, их сдерживает могучая рука. Все, что истлело, воспаряет и распадается на частицы: вот оно было, и вот не стало – что есть истина? так вопрошает отчаявшийся микроскоп, напирая на «что». Она расползлась под пальцами, которые тоже ничто. Отчаянию вопреки, оттепель обещает надежду и не обманывает. Что-то высокое смещается, налезает пластами само на себя, сулит пролиться и даровать расцвет садам и болотам. Оголодавшие птицы достраиваются падалью и собираются петь.

Рукопись

Я простодушно попросила Сарафутдинова выбросить все эти якобы вещественные доказательства. Пожимала плечами и спрашивала, на что они ему сдались – это же очевидный абсурд. Кому-то вздумалось глупейшим образом подставить меня. Незвестный принес в мой дом эти предметы и учинил

погром, благо не видел другого способа привлечь к ним внимание органов. Я же сама и вызвала полицию. Он правильно рассчитал.

Однако Сарафутдинов замялся, заюлил и начал плести какую-то дичь о резонансных делах. Он заявил, что ему-то, дескать, все совершенно очевидно, но люди непосвященные могут решить иначе. Они, сказал он, способны вообразить, будто я чем-то связана с душегубом. Они, по его мнению, даже могут подумать, что я сама наняла этого полоумного, имея целью дискредитацию и обесценивание ведомственных объектов. Короче говоря, какая бы между нами ни существовала связь, она была налицо.

Мое терпение лопнуло, я вспылила.

– Да зачем же квартиру громить? И на кой мне черт доносить на саму себя?

Пряча глаза, мой генерал объяснил:

– Может, вы что-то не поделили, и он пошалил сам. – Сарафутдинов прижал к груди руки: – Клянусь, Павлина, я так не думаю! Но ты же знаешь людей.

Я свела руки, вытянула их. Мои пухлые королевские ручки, на которых он столь упоенно сосал пальчики, что однажды без малого подавился квадратным перстнем. Мои цепкие лапки с алыми коготками, которыми я дразнила и ковыряла его слоновью мошонку.

– Арестуй меня, Сарафутдинов. Доставай свои браслеты. В моем предложении имелось двойное дно. Мы надева-

ли наручники, когда располагались к запретным и острым проникновениям. Чаще их надевала я – генералу. Он понял, опасливо оглянулся – оперативники так и шныряли вокруг, ничто не могло укрыться от их внимательного сыскного взора. Я ничего не добилась. Сарафутдинов не стал меня арестовывать, но я заметила мелькнувшее замешательство, молниеносное раздумье. При виде запястий в нем сработал рефлекс – на него полсекунды; другая половина пошла на работу мысли. То есть он не исключал. Эта сволочь пусть коротко, но прикинула: да или нет.

– Пиши фамилии, Сарафутдинов, – велела я, и он покорно вынул девственно чистый блокнот. – Торт, Бомбер, Тыквин, Булка и Молчун. Последняя – псевдоним, я не помню, как его звать по жизни. Это кто-то из них. Или все вместе. Они хотят моей крови.

– Ты мне глупость сказала, Павлина. Все это совпадение.

– Не дури. Совпадение слишком многозначительное. Ты знаешь сам.

Генерал вздохнул и сдвинул на загривок фуражку. Тулья оказалась на одной линии с его плоским лицом, и только челюсть торчала, подобная каменному крыльцу.

– Ну, или может быть так, Сарафутдинов: ты сам подбросил мне эту дрянь. Вот уж тебе никакие консьержи не помеха. Я так и скажу, если спросят.

– Павлина, – зарычал мой генерал, но я уже знала, что нащупала сокровенную точку джи, и дожимала.

– Наверху потекло говно, ветерком потянуло, и ты тоже за-
вонял. Решил пришить мне этими иглами сраные песочницы
с читальными залами. Вообразил, что ваша берет? Не связы-
вайся с военными, Сарафутдинов.

– Ты лучше посмотри, не взяли ли чего, – буркнул он. –
Золото, камни, деньги! Документы какие-нибудь.

– Почему мне знать, чего там не хватает, – отмахнулась я. –
Не суетись, я посмотрю, посмотрю. Я уже посмотрела. Нам
обоим понятно, что все на месте.

Но мы, разумеется, все проверили снова и выяснили, что
я была права. С документами генерал и вовсе сморозил глу-
пость. Мне сделали виртуальный диск, произведенный от де-
сяти других, тоже виртуальных; ни одна сволочь не могла
до них докопаться, если я не хотела, а то немного, что неиз-
бежно оказывалось на бумаге, я не хранила дома, это была
собственность Министерства.

– Твои иголки, Сарафутдинов, – твердила я, хотя в голове
понемногу складывалась другая версия. – Ты в курсе, что я
записала на камеру, как ты меня харишь?

...Было глубоко за полночь, когда генерал выпроводил
свою опергруппу. Моими посулами он хоть и был устрaшен,
но от улик не избавился и оформил их по всему протоколу.
Я видела, как он разрывался: остаться или пятиться от меня
дальше на случай чего? Он остался – на полчаса.

Тогда я решилась. Мы снова сидели в кухне и пили, только
уже не водку, а коньяк.

– Знаешь, кто твой маньяк, Сарафутдинов? – спросила я. – Это Бомбер. Мое дело сказать, а дальше делай, как хочешь, только учти – если совсем забудешь, где берега, и надеешься на военных, никакой Бомбер тебе не поможет. Я буду тебя топить.

Генерал сосредоточенно чавкал. Ему нравилось послевкусие. Никогда этого не понимала, мне всегда хотелось скорее запить или зажевать. Привычки молодости, традиции ивановской коммуналки, откуда я родом.

– Зачем Бомбер? – хрюкнул Сарафутдинов. – Кто он такой?

– Директор цирка. Он фокусник и гипнотизер. Очень удобная профессия, чтобы снять охрану и залезть в дом. Это раз. Два: фокуснику проще простого приманить деток. Они потянутся строем, как зайчики. Вроде крыс, которых утопили. Не желаете ли, мол, пару билетов в цирк?

Генерал нервно облизнулся.

– Каких крыс утопили?

Я вздохнула. Столкновение культур, а если проще – пещерная серость.

– Забудь, это сказка. Он цирк охраняет, Сарафутдинов. Потому что именно в цирке он потрошит малышей. Отберут помещение – все вскроется.

– А почему он потрошит животы и шьет глаза? – глупо спросил Сарафутдинов, как будто я могла знать.

– Вот сам у него и выясни.

Тут он начал вздыхать, чесаться, ерзать и привставать, как будто не знал, куда себя деть. Ему вроде бы хотелось уйти – полагалось уйти, но в то же время хотелось остаться. Или полагалось остаться. Я не наивна и не считала, что он терзался служебной невозможностью погрузиться в мои жаркие соки. Я даже не думала, что он боялся оставить меня по той причине, что погромщик вернется и открутит мне голову. Его донимали другие сомнения. Он подозревал меня в намерении скрыться и просчитывал кадровые решения, которые повлечет за собой мое бегство. Остро запахло мускусом.

– Ступай, Сарафутдинов, – позволила я. – Иди, служи дальше. Я никуда не денусь.

– Точно будешь здесь? – встрепнулся он.

– Очень хорошо буду.

Я редко глумилась над его азиатскими оборотами, но сейчас был подходящий случай. Сарафутдинов ничуть не обиделся – напротив, он встал с великим облегчением, хотя я видела, что в нем рассеялись не все страхи.

– Павлина, не ходи никуда.

Он погрозил пальцем, прикидываясь, будто шутит шутки.

Мне не терпелось переодеться в китайский халат, я оставалась в тесном европейском костюме и вся взопрела. Мои розовые устричные складочки натерло за день, их саднило, микроскопические грязевые крошки растворялись и едко впитывались в распаренные поры, все было липко и душно.

Сарафутдинов ушел.

Я прошла в спальню, повалилась на ложе. Тварь, которая вломила в мой дом, метнула подсвечник в потолочное зеркало. Я легла неудачно и отразилась так, что удар как будто пришелся мне аккуратно в чрево. Змеились ломкие трещины, и мне казалось, что на меня возлег многолапый паук. Скверная примета. Искаженное отражение возвращается к оригиналу и разбивает эфирное тело в согласии с причиненным ущербом.

Прибирать я не стала. Завтра. Это забота Фатимы.

Выпитое припечатало меня к покрывалу, и мне расхотелось переодеваться. Я просто тарасилась в сердцевину стеклянного насекомого, но мысли подспудно варились, ворочались и складывались в пока еще не осознанное решение.

Утром я не поехала в ведомство – вместо этого я приказала ведомству явиться ко мне. Мелькнула мысль, что телефон уже слушают, но я отогнала ее. Как будто его раньше не слушали.

– Тёма, – сказала я, – ноги в руки и живо ко мне. Никому ни звука. Все отменить.

Тёмой звали моего капитана.

Я караулила его на выходе. Перед этим я заглянула в будку консьержа и кое-что ему объяснила.

– Слушай предельно внимательно, гнида, – я ухватила его вострую морду в горсть и дернула. – Я не знаю, кого ты вчера выпустил. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Но если ты,

бактерия, хоть намеком вякнешь, кого ты только что выпустил, я тебя урою. Я спроважу тебя в самый ад. Думаешь, мне конец? Не надейся. На тебя мне власти хватит.

Консьерж вдруг преданно заскулил – единым долгом звуком, не находя благоговейных слов. Он поджал обе лапки, словно сурок. Я толкнула его в кресло. Смахнула с пульта какую-то дребедень и вышла.

Тёма вошел при погонах, в сверкающих сапогах.

– Мы едем в цирк, – я развернула его к двери лицом. – У тебя пистолет заряженный?

Капитан пошел бархатными пятнами, но отрывисто кивнул.

Мне почудилось, что я угодила в дамский детектив. Но было ясно, что генерал не ударит палец о палец. А за ночь я окончательно уверилась в Бомбере и собиралась прижать его к ногтю.

Глава последняя.

Сергей Иванович

Рукопись

Ранней весной шапито простаивает. Бомбер напрасно намекал мне на якобы врожденное равнодушие к цирку. В детстве мне там нравилось. Я и цирк любила, и конфеты, и мороженое, и лимонад, и однажды обожралась в буфете до диатеза. Во втором акте вся исчезалась, разодрала волдыри, а я была в белых колготках, ножки полненькие такие, славные, как сейчас, и вот все измазала кровью да шоколадом. Воздушные шарики, флажки, петушки – мне все это покупали. В дыре, где я родилась, было целых два цирка, но не сразу, а подряд. Первый зачем-то взорвали, хотя он был еще ничего, а второй построили через пять лет. Я не собиралась идти по стопам руководителей старой формации и взрывать шапито. Под ним, конечно, не было никакой ракетной шахты. Я собиралась развернуть здесь образцовый военно-полевой храм, который работал бы в режиме круглогодичной инновационной выставки. Я не сказала об этом директору. Конфигурация шапито и соседство с кладбищем показались мне подходящими – кое-что надстроить, кое-что переставить.

Маржа не маржа, а цирк и вправду стоял без дела. Никакой крепкий хозяйственник не стал бы взирать на это спо-

койно. Будний день, обочина жизни; где-то шуршат грузовики, разлетается веером бурая грязь; потеплело, но пасмурно. Здесь же все вымерло, лишь изредка подает голос кладбищенское воронье. И шапито имел похоронный вид: расписанный в многие краски, но все равно темный от копоти. Над парой слонов из гипсокартона кто только не потрудились – на них начертали непристойности, их били, щипали, колупали попоны; может быть, в пьяном раже даже выкусывали из них фрагменты, продавили, сбили клыки, изрисовали хоботы так, что те превратились вовсе не в хоботы. Убогие аттракционы, качели и карусели ржавели и гнили, парковка обернулась гумном. Охрана – пенсионер в будке. Я коротко объяснила ему, кто мы такие, и знаком приказала сидеть, потому что он уже дернулся вытянуться во фрунт и глаза стали, как будто он сию секунду проглотил килограмм белены.

– Где директор?

Старый шептун отвечал, что Бомбер на месте, в помещении, а больше там и нет никого. Я велела ему контролировать, что называется, периметр, хоть это была и полная глушь, но ему так не показалось, он только кивал.

– Другой выход есть?

Юродивый, конечно, вообразил, будто я спрашиваю в противопожарном смысле.

– Есть! Даже два!

Я не стала его разубеждать, а про себя решила действовать тише. Можно было оставить Тёму снаружи, но я прикинула

и поняла, что с ним мне будет спокойнее.

Мы с капитаном вошли внутрь. Невзрачное, с позволения сказать, фойе, пустые лотки, деревянные лавки. Я старалась держаться уверенно, но все же двигалась крадучись. Капитан расстегнул кобуру. Я предупредила его, что дело опасное. Мы проследовали по ипподромной дорожке к манежу. Помещение было куда просторнее, чем представлялось снаружи. Вымерший амфитеатр, мощный центральный шест для поддержания шатра. Другие шесты, промежуточные и боковые. Под куполом – сиротливая воздушная оснастка. Опилки, впитавшие неистребимый запах зверья; пыльные малиновые ковры, полумрак; бледные световые столбы, протянувшиеся высоко от каких-то не то окон, не то иных производственных отверстий.

Что-то упало, стукнуло и отдалось глухим эхом. Затем булькнул капитан. Я повернулась и увидела, как он медленно оседает на колени. Кровь тонкими фонтанами выплескивалась из перерезанных артерий. От капитана метнулась черная тень и спряталась за шторкой в десяти шагах от меня.

«Надо забрать пистолет», – спокойно подумала я, обратившись в мыслящую машину. Но кобура, понятное дело, уже опустела. Пуговка расстегнута. Пальцы иллюзиониста, стосковавшиеся по сценическому искусству.

– Бомбер, – позвала я. – На что вы надеетесь? Выходите, поговорим.

Капитан повалился ничком и остался лежать, мелко дер-

гаясь прощальными сокращениями. Бомбер выступил из тени, целясь в меня. Он почему-то оделся в черный, с алой подкладкой плащ, и вскинул свободную руку нетопыриным крылом. На голове красовался цилиндр. Лицо у него было совершенно безумное – болезненное болезнью, а не просто пьяное от крови и разгула чувств.

– Как вы попали в мой дом? – спросила я лишь затем, чтобы занять его разговором.

– Ключики, – осклабился Бомбер. – В вашем кабинете, когда вы изволили любоваться фокусами. Откатал, мне их выточили за час.

– Консьержа усыпили?

– Усыпил, – кивнул он, блуждая взглядом.

– Но зачем?

– Хотел, чтобы вами пристально занялись, обратили внимание. Может, и уцелела бы радость для деток.

– Но я оказалась умнее?

– Быстрее, – поправил он. – Ну, мы это сейчас уладим.

Я поспешила продолжить:

– Это вы подговорили остальных? Хотели затеряться в компании?

– И затеряться хотел, и обозначиться громче.

– А что за лесенка, с которой вы бегаєте по ночам?

Я тянула время, но Бомбер, хоть отвечал, мелкими шажками приближался ко мне.

– Есть такая лесенка, цирковая, для эквилибристов...

– А почему зашиваете глаза?

– Это не ваше дело, Павлина Пахомовна. Чтобы птицы не выклевали, если угодно. Я отпечатываюсь в глазах и потом попаду в рай. На крыльях ангелов. Детки меня проведут... Я же артист, я знаю, что такое контрамарки.

Он поднял пистолет, но его ударили по руке, и тот выпал. Слева, справа, сзади напрыгнули люди, но Бомбер с визгом вырвался и пустился бежать. Пуча глаза, в сбившемся на затылок цилиндре, с разоренным пробором и прыгающими усами, он больше напоминал старинного комика, чем возмнил о себе Ойчек Молчун. Оперативники бросились в погоню. Конечно, они следили за мной. Сарафутдинов, явившийся последним, протопотал мимо и глянул на меня лишь мельком, дабы убедиться, что я цела. Бомбер тем временем уже скрылся во мраке по другую сторону манежа. Сарафутдинов пошел по арене. Для этого шествия, которое вполне могло сойти за парад-алле, не хватало оркестра. Я ощутила себя на вторых ролях и поняла, что еще немного – и меня ототрут, а потому пустилась вдогонку и вскоре обогнала генерала. Как только это случилось, я обнаружила, что мчусь со всех ног.

В коридоре-кольце захлопали выстрелы. Мелькнула алая подкладка. И вдруг все собрались на одном пяточке: Бомбер отшвырнул пистолет капитана, поднял руки и привалился спиной двери, бледный, как смерть. Теперь он смахивал на классического Пьеро. Его окружили, я протолкну-

лась ближе. Где-то позади раздувался Сарафутдинов, он еще не дошел.

– Нельзя! – зачастил Бомбер, загораживая вход. – Это служебное помещение, туда нельзя!

Он перестал быть Пьеро. Лицо Бомбера внезапно сморщилось, и он сделался обезьянкой. Таким он, видимо, и был по жизни, внутренне, источенный и высушенный помешательством.

Его схватили за руки, за плечи, дернули в сторону, ударили ногами в дверь.

– Не трожьте его! – завизжал Бомбер. – Там Сергей Иванович! Не смейте к нему, вы пожалеете, вы не имеете права его трогать!

Подоспел генерал.

– Какой-такой Сергей Иванович? – прохрипел он, вторгаясь в проем.

– Не ваше дело! – выл директор. – Сергей Иванович! Сергей Иванович!

Я заглянула и замерла. Первый оперативник приблизился к грязной оцинкованной ванне, квадратной, заглянул внутрь и отшатнулся. Он пытался, пока не уперся в стену, и там остался стоять с широко расставленными ножищами. Второй, когда посмотрел в ванну, скорчился и начал блевать.

– Сергей Иванович! – кричал Бомбер.

Зашел туда и Сарафутдинов. Он потоптался у ванны и вернулся в коридор, остановился там и принялся мрач-

но разглядывать свои ботинки. Бомбер выкатывал глаза и всхлипывал, его держали.

– Убедился, Сарафутдинов? – осведомилась я.

Генерал вздохнул, посмотрел на Бомбера.

– Пусть идет, – буркнул он.

Оперативники смешались.

– Виноваты, не поняли.

– Что не поняли, пусть идет, – Сарафутдинов повысил голос, поднял глаза на Бомбера. – Пошел отсюда! Я теперь знаю тебя, берегись, ходи прочь, пока цел!

Руки разжались. Бомбер ослабил сквозь слезы, черные от грима, и стал отступать. Его походка делалась все более упругой с каждым шагом. Он даже попытался отвесить поклон, хотя еще весь дрожал; сорвал цилиндр, взмахнул им, метнул его, как летающий диск.

Сарафутдинов повернулся ко мне.

– Извини, Павлина, вы задержаны, гражданка Вонина.

...Я не знаю, не знаю, что они пишут на меня; я красивая, бедная, я спадаю с лица, мои платья висят мешком; мне не даются стихи, я хочу шоколада; меня возили-допрашивали, мне ничего не сказали о детках; мне кажется, их похоронят во всяком смысле и не повесят на меня, им хватит сучьев, но что же тогда, почему замолчал мой министр, куда он уехал, вы суки, вы твари, вы, господа, сущие звери, я сижу взаперти, меня хотят замуровать, меня сошлют в африканское посольство к людоедам, я хочу посмотреть телевизор;

никто не знает, где я; никто не найдет меня, моего дома нет, моей улицы нет, и района нет тоже, и меня тоже нет, а на нет нет суда – его и нет; я боюсь подходить к окну, за ним уже распускаются почки и что-то цветет, там стало теплее, а меня пробирает холод...

январь-апрель 2013

Допрос Бенкендорфа

«Вольются в Дерево Цвет» – никем не обещано.

Они стоят у подножия; пролетает мгновение – они уже осваивают ярус, сразу четвертый, минуя восьмой и нулевой; мгновение – условность для большей доходчивости. Картины меняются, последовательность сохранена. Пространство упразднено, и до всего, что образуется, бывает подать рукой. Воображенное возникает с половинными шансами. Повсюду им жутко и мерзко, невыносимо желанно, все может оборваться.

Они вливаются, не иначе. Вполне вероятно.

Первое представление о волне Брованов получил, когда покинул кинотеатр минут на пять – перекурить и оглядеться. Олтын-Айгуль осталась в зале. У нее было еще одно какое-то имя, намного проще.

Кинотеатр представлял собой внушительный развлекательный комплекс, храм удовольствия. Стальной и стеклянный, изъеденный эскалаторами, изобилующий полумрачными харчевнями с алой мебелью, торгующий мишурой. Наполненный посетителями, не знающими, чем заняться, равнодушными к волне и песьеголовому серийному убийце, бродящему в переходах и отрывающему бошки. Он появлялся на миг, истреблял одного или двоих, реже – троих; затем растворялся. О нем вспоминали на миг же, обмирали от холода, моментально забывали, продолжали ходить.

Олтын-Айгуль стояла у окна во всю стену – собственно, и бывшего стеной. Опираясь на поручень, сверкавший сталью брус, она изучала крыши домов – вишневые, малиновые, бурые, седлающие желтые стены, присевшие в ожидании волны, куда день перетекал в лихорадочные сумерки. Лиловые облака, собравшиеся на горизонте, раздавили солнечный свет в лепешку, заостренную по краям. Брованову покамест не было дела до Олтын-Айгуль, хотя они прибыли, как он смутно припоминал, вдвоем; он, стоя снаружи и от-

брасывая длинную тень, пробовал прикурить и одновременно взирал исподлобья на человека, облепленного голубями.

Человек торчал изваянием, как будто заранее подставился. Голуби разом слились и облепили его с головы до ног, уподобляясь поползням. Они застыли, через минуту дружно отвалились, попадали замертво на теплый асфальт. Мужчина, испещренный точечными багровыми отверстиями, лишенный всей крови до капли, еще немного постоял и тоже повалился. Все это произошло в совершенной тишине. Брованов бросил окурок и поспешил вернуться в кинотеатр. Зрительный зал, несколько не затемненный, был полон наполовину; многие сидели, другие бродили с коктейлями между рядами, перетапывались в проходах. Мелькнул маньяк, возвышавшийся над людьми на добрую голову – песью, да; кого-то рванул, кто-то ахнул, удивленно обернулся.

– Вон он пошел, – сказал кто-то.

Брованов успел заметить мохнатый загривок, мелькнувший в толпе; возобновилось ровное гудение, состоявшее из голосов, шарканья, кашля и шума вентиляторов. Там, где недавно сидела жертва, образовалась зона отчуждения – мелкие брызги крови, и больше ничего.

В зрительном зале не было экрана.

Фильмов тоже не показывали.

Где-то разбился стакан, где-то сбилась ковровая дорожка. Город за окнами выглядел вымершим, и только воздух подрагивал, да прочерчивал след невидимый самолет.

– Сейчас придет волна, – сообщила Олтын-Айгуль, переместившаяся стремительно, незаметно для глаза. Она взяла Брованова под руку, притиснулась, передумала; разогнула калач, образованный локтем, положила ладонь Брованова себе на бедро. Тому стало так сладко, что он едва не сошел с ума. – Вон она, – продолжила Олтын-Айгуль.

– Вообще, мы где с тобой? – осведомился Брованов.

Наверное, он был восхитителен – судя по выражению ее лица. Лица у нее не было, одно выражение.

– Так уже всё, – ответила Олтын-Айгуль, похожая сразу на всех, кого он знал, и Брованов различил тончайший колокольный звон, похожий на комариный писк. В зале вздохнули, бросились к окнам; горизонт ненадолго заволокло бесшумным дымом – разовый выброс чего-то откуда-то; когда дым рассеялся, вдалеке замелькала высоковольтная вышка – растопыренная, неловкая, грубо шагавшая и наступавшая туда и сюда, плясавшая и погружавшаяся в непристойные безумства. Очевидно, она сокрушала, где шла, все подряд. Ее дикие метания наводили на зрителей паралич.

– Волна прокатилась, – Олтын-Айгуль произнесла это с необоснованно вопросительной интонацией, ибо не рассчитывала на ответ.

Пандус по случаю февраля покрылся наледью; шипованные колеса проворачивались опасливо, словно примеривались. Автомобиль неторопливо вползал на полупустую стоянку перед центральным входом в Институт Нейрохирургических Инноваций. Он еще ехал последние метры, когда распахнулась дверца, как будто выпустившая нетерпеливый пар: наружу вывалился крупный мужчина в расстегнутом пальто. Не толстяк, но весьма упитанный – таких называют сытыми; в широких, чуть полосатых, брюках; в проеме пальто виднелся толстый галстук и двубортный пиджак, застегнутый, как положено, на одну пуговицу. Большие щеки, губы, нос; бесчувственные глаза, аккуратно зачесанные редящие волосы, полуторный подбородок и пухлые кисти. Водитель остался в салоне, намеченный небрежным штрихом.

Крупный и сытый поскользнулся на ровном месте, коротко выругался и поспешил в здание; лицо, на миг исказившееся досадой и злобой, медленно восстанавливало обычное равнодушное выражение. Так ведет себя упругий диван, когда приходит в себя от вмятины. Мужчина полез за пазуху и встретил взметнувшегося привратника уже в полной готовности: сунул под нос вишневого цвета корочки. Вкупе с общей целеустремленностью обладателя их вид побудил стража захлопнуть рот и воздержаться от разглагольствований

насчет бахил. Но мужчина вдруг остановился, резко затормозив, и поднял ногу.

– Ботинки чистые, проверяйте!

Охраннику не оставалось иного, как тупо уставиться на внушительного размера ботинок, которым посетитель поигрывал довольно ловко, вращая голеностоп.

В правой руке мужчина держал черную папку.

Позади присутствовал Брованов. Сливаясь с воздухом, он парил за спиной мужчины и холодно наблюдал за его перемещением.

Гость отвернулся и пошел прочь, к лифтам. Он держался хозяином. Охранник видел его впервые и немного расстроился, ощущая обидную не востребованность. Ориентирование в проходах и переходах было его прерогативой, на которую никто никогда не покушался.

Сытый мужчина пригласил не один лифт, а сразу все. Четыре кабины примчались с секундной разницей, посетитель шагнул во вторую. Взлетел на шестой этаж и вскоре уже вышагивал по линолеуму, безошибочно угадав кабинет заведующего в конце коридора. Мимо прошел человек в спортивном костюме, с перебинтованной головой; проковыляла санитарка. Справа мелькнула палата, зиявшая проемом, где замерла, готовая тронуться в путь, скрюченная бабушка в самоходном кресле.

Все это не возбудило в посетителе ни мгновения любопытства.

Он вошел в кабинет, предварив свое появление отрывистым уведомляющим стуком.

Заведующий поднял подслеповатые глаза и встал, угадав серьезного человека. Заведующий курил; его ладонь автоматически сложилась в ладью, куда он сразу же и свалил пепельный столбик.

— Добрый день, моя фамилия Бороздыня, — скороговоркой проговорил вошедший.

— Греммо Иван Миронович, — ладья расправилась, нацелилась в Бороздыню, но сникла на полпути. Греммо был левшой, ладья была правая, пришлось вынимать платок и протирать.

Наконец, рукопожатие состоялось. Для Бороздыни эта пауза оказалась уместной, он не привык здороваться за руку с людьми, которых по роду своей деятельности навещал, посещал и неизбежно обременял. Греммо уже знал, о чем пойдет речь. История болезни, заранее отложенная, торчала углом из вороха медицинских бумаг. Иван Миронович положил сигарету в мутную пепельницу, выполненную в виде гроба. Пепельница, разделенная на два неравных отделения, одновременно служила сигаретницей. В отделении побольше под крышкой, призванной скрывать туловище и ноги покойника, хранились сигареты. В том, что поменьше, предназначенном для головы, была устроена собственно пепельница. Мраморные подушки покрылись сажей. Зажигалка располагалась в ногах, и в пламени, по желанию созерцателя,

усматривалась либо свеча, либо вечный огонь, либо просто событие кремации.

Греммо вытянул историю из стопки.

– Присаживайтесь... Собственно, вот...

– Дайте сюда, – Бороздыня подался вперед, отобрал историю, поискал кресло. – Как-то неудобно мебель у вас стоит, Иван Миронович. Приходится сбоку сидеть, несподручно, – Бороздыня сел и разорвал историю надвое. – Не возражаете, если я развернусь?

– О чем разговор – обождите минуточку, я сам поставлю...

Щуплый Греммо, косматый височными вихрами и бледный тонзурой, вцепился в соседнее кресло. Брованов скосил глаза, сидевшие глубоко в параллельной вселенной, и эта легчайшая работа глазных яблок перевела его в состояние бодрствования. Бороздыню он уже и так потерял, а Греммо беззвучно растаял вместе с креслом и кабинетом.

Брованов провел рукой по лицу, поморщился, попробовал сесть, что удалось ему со второй попытки. Его шатало, голова кружилась, и где-то очень далеко тонули, поглощаясь серым эфиром, Олтын-Айгуль, Бороздыня, Греммо и весь остальной мир, преобразованный волной. Кем была Олтын-Айгуль, Брованов так и не сообразил, зато названные мужчины держались куда прочнее, имея поддержку в действительности.

Штатив с капельницей исчез. Брованов поднял руку, при-

спустил рукав. Локтевой сгиб перекрещивался полосками пластыря, державшего марлевый валик. Он огляделся и увидел решетку – толстую, с мелкими клетками, встроенную в небольшое окно. Клочок неба мутился, и Брованов решил, что снаружи наступила оттепель.

Он кое-как встал. Его моментально швырнуло в сторону, он рухнул на колени, но не ушибся, благо стены и пол были обиты пухлым. Позади была койка, приспособленная к стене, как будто в спальном вагоне. И больше ничего – ни умывальника, ни стола, ни вообще мебели, за исключением пластикового судна и пачки бумаги с огрызком тупого карандаша. Проглотить?

Обманчиво мягкая дверь таранилась бронированным глазком. И, разумеется, оставалась наглухо запертой.

Бороздыня и Греммо существовали.

Более того: разворачиваясь перед Бровановым в сновидении – весьма убедительном и проработанном благодаря капельнице, – они в ту самую минуту и вправду беседовали, причем не где-нибудь, а в кабинете Греммо, в четырех помещениях от Брованова, если следовать по коридору направо, в том же этаже.

И выглядели они точно такими же, какими предстали ему, и держались похоже. И пепельница стояла такая же.

Однако дальше начинались расхождения.

Для Бороздыни не было никакой надобности представляться Греммо, они знали друг друга давно. Ни о каких охранниках, не знакомых якобы с Бороздыней, не могло быть и речи. Все незнакомцы отсекались на подступах, и в полукилометровом радиусе не могло находиться ничего постороннего. За этим следили особые механизмы, обученные не только электронному наблюдению, но и блокированию территории при помощи дверей, ворот, электрического тока, лазерной паутины, колючих сетей и ежей. А если все перечисленное не помогало – стрелявшие на поражение.

Не могло быть в кабинете заведующего и никаких историй болезни, могущих быть разорванными надвое. Стол Греммо вообще стоял девственно чистым, если не считать пепель-

ницы. Иван Миронович – сморщенный, сторбленный, табачного цвета и содержания – стоял посреди кабинета и курил в ладошку, а Бороздыня расположился в кресле по-свойски, без церемоний, привычный к обстановке.

– Я боюсь, он сожрет карандаш, – признался Бороздыня.

– Вынем, – рассеянно отозвался Греммо.

– Иван Миронович! Посерьезнее! Как вы собираетесь его вынимать? Он, может, не перенесет наркоз.

Заведующий встряхнул головой, собрался, уставился в Бороздыню.

– Егорушка! Это же наши карандаши, они съедобные. Ты что? И он не замечен в суицидных настроениях. Он больше одержим каким-то Деревом-Цветом...

– Ну, покажите.

Греммо обогнул стол. Ящик отпирался электронным ключом, подобно автомобилю. Иван Миронович прицелился, стол угодливо пискнул. Заведующий запустил руку внутрь, вынул листы: одни были косо исписаны, другие – криво изрисованы.

Иван Миронович вздохнул:

– Я сомневаюсь, что это осмысленное послание – скорее, побочный продукт нездоровья.

Бороздыня рассматривал хитросплетение линий, напоминавших в совокупности перекасти-поле.

– Вы его, часом, транквилизаторами не накачиваете?

– Минимально. Чтобы поспал.

– Лучше совсем отменить, они мешают экспрессии.

– Егорушка, позволь мне самому решить, – визгливо окрысился Иван Миронович. – Не суйся не в свое дело. Ты сыщик, а я узкий специалист. Не мешай готовить пространство.

– Саперная работа, Иван Миронович.

Греммо презрительно покосился:

– Это ты мне говоришь? Нейрохирургу?

– Вы пока не в курсе...

– Я не в курсе? – Греммо раздраженно вернулся к столу, порылся в ящике, выдернул снимки, свернутые в рулон. Содрал резинку, развернул. – Ты прав, Егорушка, пора посвятить меня в подробности обстоятельств. Объясни мне, будь ласков, что это такое.

Палец Ивана Мироновича уперся в светлое пятно, засевшее в сокровеннейшей глубине исследуемого черепа.

– Никогда не встречал такого очага, – продолжил Греммо. – Тебе он ничего не напоминает? Похож на фигуру! На человека. Сидящего. И сидящего весьма вольготно! Я никогда не встречал таких паразитов!

Бороздыня мрачно рассматривал снимок. Заведующий, не дожидаясь разъяснений, начал читать:

– Т1-взвешенное изображение, аксиальная проекция... с подавлением сигнала от жировой ткани, после введения контраста... В области правого внутреннего слухового прохода отмечается усиление слегка гетерогенного образования

неправильной формы... Посмотри, Егорушка. Вот вроде как голова, а это ноги. На голове как будто цилиндр, Егорушка! А это что такое? Нацеленное в сосцевидный отросток? Похоже на трость!

– Цилиндр и есть, – сквозь зубы пробормотал Бороздыня. – Сукин сын.

Брованов стоял на задворках старой клиники. Ее строения напоминали октябрьские поганые грибы, угодившие в развернутый март. Приземистые, местами состарившиеся до сиреневой синевы, местами – непоправимо желтые, они были разбросаны в радиусе полукилометра. Территория вымерла, наступили сумерки. Ноздреватые сугробы разваливались, проседали; обнаруживались их внутренние скелеты – перепрелые доски, ржавый лом, ошметья войлока и пакли.

Брованов переминался у входа в подвал, всматривался в проем. Железные ворота были распахнуты настежь. Кто-то шевелился в темноте, переворачивался на подстилке; мутный фонарь, упакованный в проволочный кокон, освещал свалывшуюся шерсть.

Брованову было известно, что в подвале ютятся прокаженные с ускоренным обновлением тканей. Годы, которые уходят на это у здоровых людей, сокращались до нескольких недель. Брованов сравнивал естественное обновление с машинописью в десяток копий. Единая генетическая программа пропечатывалась тем бледнее, чем толще была стопка бумаги. Чем старше, тем хуже кости и кровь; высокий внечеловеческий замысел в условиях материи вырождается с каждой новой копией. В подвале происходило иное: обновление сопровождалось замещением; что-то отваливалось навсегда,

что-то преобразовывалось в животное. Со временем местная публика превращалась в беспородных собак. Брованова ждала та же участь, но он пока не чувствовал в себе ничего страшного и воображал себя единственным нормальным среди дегенератов. Ему казалось, что он затесался в их компанию по роковой случайности. Что-то держало его на территории; уйти он не мог. Он тоскливо наблюдал за преобразованием.

Он не понимал, с чего началось, но откуда-то знал, что первой нарушается речь. И еще он заметил, что превращения происходят не плавно, а рывками. Только что плавали руки, ходили ноги, и вот уже экземпляр лежит на подстилке, лишенный тех и других; взамен из туловища вырастают, подергиваются короткие кротовые лапки. Все это совершалось в мертвом молчании.

Олтын-Айгуль уже превратилась. Связь с ней оборвалась. Брованов увидел ее в круге света, когда она куда-то шла по подвалу. Олтын-Айгуль передвигалась на четырех конечностях; это еще не были лапы – прежние руки и ноги, но только выпрямленные, как лыжные палки, без прогиба в суставах. Лицо Олтын-Айгуль, повернутое в фас и так зафиксированное, серьезное на грани улыбки, довольное, напыинало выражением строгую учительницу, наведшую порядок. Сверкнули очки, проплыли поджатые губы. Нет, конечности выглядели не совсем обычно: они продолжались в остроконечные копытца, но не раздваивались. Олтын-Ай-

гуль, отвратительно голая и сытая, процокала по каменному полу и скрылась в катакомбах.

Она, конечно, не сознавала себя. Теперь ей не доставало хвоста. Его отсутствие воспринималось как уродливый недостаток.

Брованов скосил глаза: он не заметил, как две почти законченные собаки подобрались к нему и вот уже некоторое время как вгрызались в его стопу. Он ничего не почувствовал, кроме гадливости; отпрянул, выдернул ногу. Собаки отшатнулись, у одной свисал из пасти черный слоистый лоскут, образованный язычком ботинка и бурой кожей. В стопе осталась прореха, черневшая мертвыми мышцами. Недособака села. Давясь и не спуская с Брованова круглых глаз, она стала быстро заглатывать лоскут. Тот втягивался в горло бесшумными рывками. В собачьей морде сохранялись человеческие черты – надбровья, мочки ушей, губы. Брованов отвел ногу и врезал собаке по черепу. Нога бесшумно провалилась; разломанные кости переставились, как в анимации, срослись, покрылись рыжей шкурой; по морде собаки пробежала мгновенная рябь, и вот превращение завершилось. Собака пошла прочь, остаток добычи торчал из пасти подобно сигаре. Второе существо, когда Брованов о нем вспомнил, успело скрыться. Брованов пригнулся, вступил в подвал, пошел на свет и попал в помещение, богатое трубами и окаменевшими вентилями. На полу валялся тощий матрас, Олтын-Айгуль угадывалась где-то поблизости. Она была от-

вратительна Брованову, но он хорошо помнил, что никогда не сможет от нее избавиться.

Из темного угла выдвинулось сосредоточенное очкастое лицо – на уровне колена Брованова. Волосы Олтын-Айгуль были туго зачесаны и стянуты ремешком в колючий пучок. Она выжидающе таращилась на Брованова. Он беспомощно оглянулся в сыром и холодном подземелье, не зная, куда податься с освещенного пятачка.

– Иван Миронович, – сказал Бороздыня, и этим обращением подчеркнул исключительность секрета. – Я выписал вам допуск. Оформил его. – Он расстегнул папку. – Распишитесь. Но после этого, случись что нехорошее, вы буквально исчезнете. Вас разложат на атомы, и я не шучу. Это больше, чем просто кремация.

Иван Миронович приблизился боком. Длинная лампа под потолком зловеще мигала, за дверью прошуршали колеса каталки.

– Егорушка, – Греммо покачал головой, – я этих бумаг подписал больше, чем ты знаешь слов...

Он выдернул ручку, клюнул бумагу, оставил на ней мерзкую загогулину.

– Не бзди, Егорушка. Рассказывай смело, ничего тебе за это не будет.

Бороздыня криво усмехнулся, погрузился в кресло. Ему не хватало сигары и шляпы, он был похож на частного сыщика из черно-белого американского кинофильма.

– Это, Иван Миронович, международный террорист по прозвищу Шуб.

Греммо прищурился:

– Это ничтожество Брованов – международный террорист?

– Нет, не Брованов...

Заведующий махнул рукой:

– Ладно, дальше. Шуб – это приступ?

– Да... приступ шизофрении... или сдвиг. Террорист – на снимке...

Иван Миронович взял снимок со стола.

– О чем ты, Егорушка? Намекаешь, что мне пациента подменили?

– Нет, пациента не подменили. Но все-таки террорист на снимке. Это он самый и есть, нацеленный в ваш отро-
сток... Вы ведь и сами говорите: голова, ноги.

Греммо озадаченно рассматривал контрастированный мозг. Бороздыня не стал дожидаться новых вопросов и быстро сказал:

– Эта свинота додумалась до транслирования себя непосредственно в чужую голову. Через обычную гарнитуру. Оцифровался, скопировался, распаковался в черепе. Живем. Только размером поменьше – он бы и вовсе до атома сократился, но технология новая, не успел доработать. Мы ему времени не оставили.

Заведующий переводил взгляд со снимка на Бороздыню, туда-сюда; Иван Миронович медленно закипал. Бороздыня вдруг сунул палец в ухо и начал яростно выскребывать там что-то – действие, пришедшее в вопиющее противоречие с его гнетущей дородностью, неожиданно резвое. Греммо нехорошо прищурился:

– Еще одного шпиона поймал?

– А? – очнулся Бороздыня.

– Еще один, спрашиваю? В голову заполз?

– Да нет, ухо чешется...

– Не пришлось бы проверить, с какой-токой радости!...

Что за басни ты мне рассказываешь? Ты сам себя послушай: распаковался в черепе, живьем!

– Мы точно не знаем, насколько живьем и в какой форме, – уточнил Бороздыня. – Очевидно, он подогнал себя под новые условия. То есть мы понятия не имеем, чем он там дышит и питается. Это, в частности, нам тоже хочется выяснить, но для этого придется его аккуратненько вытащить и допросить...

– Егорушка! Человечество еще не додумалось до таких фокусов!

– Человечество не додумалось, да, но этот додумался, потому что нелюдь... Он гениальный биотехнолог, Иван Мионович. Начинал мирно: выращивал для страны биологическое оружие – вирусы, микробов. А потом увлекся опасными идеями. Решил для себя, что нужно разрушить мировой порядок – неважно, чьими руками. Начал помогать всякой сволочи, всем подряд, лишь бы взрывать. Он, Иван Мионович, вообще-то считает себя великим государственным и цитирует классиков – в том пункте, что надо разрушить старую машину и построить новую. Для эффективного тотального управления... Новую он и построил, программу

свою. Цифровальную машину. Нам она, как вы догадываетесь, тоже не помешает – да что лукавить, она нам отчаянно нужна.

Иван Миронович курил в ладошку, бросал на Бороздыню быстрые взгляды исподлобья.

– Не верю ни единому слову. Человек не сможет скрещиваться с машиной еще тысячу лет...

– Через тысячу лет, Иван Миронович, последователи Шуба переведут человечество в кванты и разошлют по галактикам... Может быть, это и хорошо, но пока он занят вещами попроще. Например, изготавливает жидкую взрывчатку огромной разрушительной силы. Тоже на биологической основе, органическую. Нам и с нею неплохо бы разобраться... короче, вопросов к нему – не перечесть!

– А кто же такой тогда этот наш пациент? Которому я делал снимок?

Греммо выглядел растерянным. Он начинал верить Бороздыне – точнее, ведомству, которое они олицетворяли вдвоем, но полностью поверить не мог.

Бороздыня презрительно скривился:

– Да это просто какая-то сволочь, подвернулась кстати. Просто сосед... Я вам расскажу, Иван Миронович, как было дело. Чистое кино.

Шуб, вооруженный паяльником, сидел в кухне и перedelывал материнскую плату. Щуплый, он сильно смахивал на крысу, а еще больше – на Геббельса; ему бы пошел наряд из цилиндра, просторных панталон и сюртука, в этом виде он бы сгодился на роль порочного влюбленного, поющего о девушке своей мечты. Жидкие волосы Шуба были мало что прилизаны с зачесом назад, но еще напомажены какой-то гадостью. Чувства Шуба были привычно обострены. Он развлекался микросхемами, которые казались ему не сложнее пасьянса: коротал время в ожидании звонка от заказчика. Ему не доставало круглой суммы, по получении которой он мог бы сменить адрес и полностью переключиться на собственное дело. Оно сводилось к миниатюризации готового устройства. Сидя в девятом этаже многоэтажки, Шуб не мог видеть машин, подруливших к подъезду, равно как не имел оснований выделить шум, ими произведенный, из общего далекого и ровного гула. Однако он отложил паяльник и подошел к окну. Отвел занавеску и моментально уверился в худшем. Времени у него оставалось в обрез.

Прихватив гарнитуру, Шуб выскочил на лестничную площадку и позвонил в соседнюю дверь. Из-за нее донеслось ворчание, переросшее в шарканье; хрустнул замок. Высунулся сосед: долговязый литератор Брованов – тихий пьяница,

мистик и порядочная бездарность, не востребованная обществом.

Шуб, умело скрывая лихорадочное нетерпение, оскалил мышинового цвета зубы. Разжал ладонь:

– Купи гарнитуру, сосед. Даром отдаю.

Брованов помотал головой:

– Не, спасибо. Мне не нужна...

Он не понимал, с кем связался. Спорить было бессмысленно, Шуб уже вывел его на площадку.

– Да ты не знаешь, о чем речь... пойдем, покажу!

Брованов не успел и глазом моргнуть, как переместился в самое террористическое гнездо. Еще секунда – и гарнитура охватила его ухо, тогда как Шуб расположился за клавиатурой. Одно рукой он настукивал пароли, другой прицеплял себе к черепу нечто похожее на микрофон, шнуром уходившее в процессор. В дверь позвонили.

– Звонок, – пробормотал Брованов.

– Это ангельская труба, – возразил Шуб и ударил по клавише ввода.

Трубный зов, оставшийся без ответа, не повторился. За дверью решили, что трезвонить далее незачем. Громыкнул взрыв, за ним следующий; двойная дверь повалилась в прихожую, впуская густые клубы белого дыма. Из тумана выскочили воины, вооруженные до зубов, упрятанные в каски, бронежилеты, респираторы и очки.

– На пол все! – заревел самый первый.

Но Брованов и без того лежал на полу. Он повалился за несколько секунд до вторжения и теперь пускал ртом изумленные пузыри. Шуба не было видно, зато из кухни доносились изобличающие звуки некой возни. Автоматчики бросились на шум и поспели вовремя: Шуб уже раскорячился за окном, готовый перелететь на соседний балкон. Ему бы позволили, благо он был нужен живым, не выдерни Шуб гранату. Очередь сорвала его с подоконника вместе с цветочным горшком, и Шуб взорвался по дороге к земле, на высоте четвертого этажа.

Вернулись к Брованову, тот оставался в прострации. Добиться от него не удалось ничего, литератор не понимал, где находится и что происходит. Командир группы собрался вызвать скорую, но тут из спальни выскочил Бороздыня – он занимался там обыском – и вовремя пресек гуманизм. За Бровановым прикатила совсем другая машина, внутри оборудованная по последнему слову медицинской мысли, зато снаружи больше напоминавшая броневик для перевозки золота. Его повезли не сразу, сначала пришлось перевязать ему рану, образовавшуюся на месте уха, потому что гарнитура тоже взорвалась, едва до нее дотронулись.

Олтын-Айгуль здорово изменилась.

Это вообще был кто-то другой, прежнее имя сохранилось условно. Она стала ниже ростом, похудела, волосы выщвели и сплелись в пару школьных косичек. Школьным выглядело и короткое платье с передником. Одновременно повысился градус испорченности, которая к досаде и страху Брованова сочеталась с алчностью и высокомерием. Олтын-Айгуль насмешливо смотрела на него, ее терпение было на исходе. Они находились в спальном помещении туристической базы. Олтын-Айгуль стояла среди циновок: голова издевательски склонена набок, руки скрещены на груди. Брованов понимал, что еще немного – и она покинет его ради кого-то состоятельного. Он взволнованно ходил по проходам и рассыпал обещания, заверяя Олтын-Айгуль в готовности заплатить за праздник. Денег осталось в обрез, но пока их еще хватало. Она почти поверила, когда распахнулись двери и в помещение хлынули неизвестные путешественники – пропитанные лесными запахами, кострами, собственными соками и не сразу обратившие внимание на чужаков. Брованов заметался в досаде, ища уединения, тут кто-то и возмутился, намекнув обоим, что места мало, что тесно, что лучше бы им убраться.

– Нам пора на экскурсию, – уверенно объявил Брова-

нов. Он притворялся, уверенности не было, но Олтын-Айгуль неожиданно повиновалась и вообще вдруг сделалась не очень заметной, даже и вовсе не важной.

...Они гуляли по старому пионерскому лагерю, сплошь изрытому свежими траншеями; колоссальные ели, поваленные, топорщились корнями, похожими на лосиные рога. В мокрой и пасмурной зелени копошились мошки. Гуляющих было много, и все они выстраивались – сгонялись – в очереди, которые формировались по количеству пропускных пунктов, где правили военные. Брованов тревожно оглядывался на внушительные комья земли; очередь продвигалась быстро, прапорщик в камуфляже напоминал дорожно-го регулировщика. Его однополчане, засевшие в стеклянной будке, сноровисто колотили печати в бумаги. Брованов взял Олтын-Айгуль за руку, его беспокойство усиливалось.

– Поторапливайтесь, – прапорщик вручил им пропуска.

Несомненно, он их выделил. Они числились в ведомости.

– Нас ведут, – негромко сказал Брованов. – И уже давно.

Все время.

Пейзаж расплылся и стал неопознаваемым. Они шагали вперед, к ним присоединились еще двое: всклооченная собака и неизвестный тип – ушибленный, молодой, угрюмый. Он молчал и старался не отставать, болтаясь где-то на периферии зрения. Олтын-Айгуль, напротив, бодрилась и сыпала шутками, понять которые Брованов не успевал, они сливались в единый ненарушаемый ручеек смеха. Брованов

знал, что обратный путь будет длиться очень, очень долго. Они приблизились к основанию огромной башни, уходившей в облака; башню оплетали спирали виадуков. Башня высилась под углом и была, пожалуй, не столько башней, сколько огромным деревом, крона которого терялась в стратосфере. Спираль расширялась, переходя в продолговатые утолщения – станции, которые тоже оборачивались вокруг дерева ободами, но затем вновь сужались. Станции сверкали разноцветными металлическими огнями. Компания вступила в ствол и моментально оказалась на третьем уровне. Ствол был источен тоннелями, по которым неслись поезда; полупустые платформы дышали дезинфекцией. Повсюду горели табло с непонятными надписями, сидели и прохаживались люди. Обозначались подъемы и спуски, колодцы и шахты, иные заброшенные и весьма опасные на вид. Компанию вынесло на подиум, где был установлен длинный стол. Судей за ним сидело человек десять.

– Распишитесь! – велел председатель, а Брованов не расписался.

– Вы разве не хотите знать, кто против вас играет?

Брованова пронзило: вот! Сейчас обнаружится тайный противник, уже давно идущий по пятам, о котором Брованов смутно догадывался.

– Мы явим противодействующие силы... – Председатель растворился, от него остался голос, и голос сочувствовал Брованову, что и подтвердилось: – Играют трое, а мой голос

за вас... Против вас сыграют дважды, а на третий – ударьте! Это легко. Мы покажем вам одного... Знакомьтесь – Бенкендорф!

И недруг, доселе скрытый, нарисовался.

Ясно было, что это не человек, а просто он назывался так для удобства. Рослый, злой детина лет тридцати пяти, одетый в сине-красный мундир, пританцовывал, скалил зубы и угрожал ударить Брованова детскими качелями. Бенкендорф выполнил пируэт, показывая себя. Никто ему не мешал, все наблюдали и ждали. Бенкендорф разминался. Он выбросил ногу в рейтузине и описал ею внушительную дугу. Подпрыгнул, развернулся и выписал новую – два маха, помнил Брованов, дайте ему сыграть два раза. Бенкендорф самозабвенно плясал – открытый, незащищенный. Брованов ударил в ответ, и тот изумленно опрокинулся навзничь. Оказалось, что это легко, вообще ничего не стоит, Брованов мог бить вполсилы, в четверть силы. Он знал, однако, что дальше придется труднее. Это было всего лишь первое, ознакомительное соприкосновение.

– Он самый легкий, – кивнул председатель.

Озабоченные, серьезные, Брованов и Олтын-Айгуль отправились в странствие. Им предстояла длительная борьба, победой в которой назначено участие в дереве. Это было Дерево Цвет, которому надлежало раскрыться в финале. Путь в небеса обещал быть тернистым. Олтын-Айгуль уже не смеялась; собака, высунув язык, деловито бежала рядом; мол-

чаливый молодой человек болтался чуть позади – теперь Брованов не сомневался, что это союзник; он много слабее, но в какой-то момент пригодится.

Глядя на свернувшегося калачиком Брованова, Бороздыня испытал прилив ярости. Шуб находился в полутора шагах, но дотянуться до него не было никакой возможности. По досадному свойству человеческой психики форма и содержание слились для Бороздыни в неразличимое целое. Он ничего не мог с этим поделать, замаскированный Шуб уверенно подминал под себя носителя, отождествлялся с ним и выходил на передний план.

Брованов дремал на койке. Локтем он прижимал очередное сочинение. Греммо подкрался и осторожно вытянул бумажный лист. Быстро пробежал глазами.

– Бенкендорф – тебе, Егорушка, о чем-нибудь говорит это имя? – спросил он негромко.

Бороздыня пожал плечами.

– Это Александр Христофорович, граф, начальник Третьего Отделения. С чего вдруг о нем?

– Это я у тебя хочу спросить. Взгляни.

Морща лоб, Бороздыня вчитался в написанное. Иван Миронович похлопал Брованова по плечу:

– Брованов! Проснитесь, обход.

Тот нахмурился, замычал, с усилием перевернулся на спину. Коротко всхрапнул и снова затих, а из уголка рта потекла густая слюна.

– Брованов!

Заведующий отвесил ему шлепок, приподнял веко. Глазное яблоко потерянно поплыло, но вот вернулось и мутным зрачком уставилось на Греммо.

– Просыпайтесь, довольно валяться!

– Какая-то белиберда, – Бороздыня встал рядом. – Снова Дерево Цвет и какие-то невнятные намерения.

– Плюс Бенкендорф, – напомнил Иван Миронович. – Его не было. Это что-то новое.

– Он проснулся. Потом обсудим...

Брованов и вправду пробудился – по крайней мере, наполовину. Он не шевелился и следил за обоими мутным насупленным взглядом.

– Узнаете меня? – осведомился Греммо.

Брованов прикрыл глаза. Это могло означать что угодно. Иван Миронович вынул неврологический молоточек.

– Давайте немного соберемся. Вы можете, я вижу. Смотрите на молоток. Голова неподвижная, только глазами. Сюда...

Молоточек уехал влево, и Брованов не без труда покосился на него.

– Отлично! Теперь сюда...

Но силы Брованова истощились, он вновь задремал, и больше Иван Миронович ничего не сумел от него добиться. Тогда Греммо принялся поднимать и опускать ему руки и ноги, колотить по ним молотком, колоть иглой.

– По идее, у него должно шуметь в правом ухе, – пробормотал заведующий. – Правый фациалис уже отказывает...

– Что отказывает? – встрепнулся Бороздыня.

– Лицевой нерв... к сожалению, я не могу заставить его зажмурить глаза и оскалить зубы, но складочка уже поехала. Что вполне ожидаемо при такой локализации очага...

– Иван Миронович, попроще.

– Шуб! – повысил голос Греммо. – Твой Шуб, Егорушка, со всеми удобствами разместился в области, где у людей проходят нервы... лицевой, слуховой... Спасибо, что его не раскидало шире. Пациент соответственно реагирует.

– Давайте не здесь, – Бороздыня заговорил недовольно. – Откуда нам знать, как он реагирует? Он может придуливаться. Лежит в забытьи, а сам отлично нас слышит.

Греммо оскорбился:

– По-твоему, Егорушка, я не умею отличить сопор от стимуляции?

Егорушка опасливо оглянулся:

– Я не о нем... Шуб, может быть, нарочно там окопался, чтобы подслушивать.

Иван Миронович крикнул, приготовился сказать что-то ядовитое, но передумал.

– Хорошо, пойдем отсюда от греха...

Бороздыня завис над Бровановым, как будто ждал, что Шуб выскочит из уха и подастся в бега. Брованов лежал ослабленный, будто лишенный костей. Его рот немного ско-

собочился и уподобился каплевидной щели. Дыхание было ровным, но ровным нехорошо; спокойствие выглядело как обреченное ожидание. Испарина подсыхала. Над бровью кружила муха, непонятно откуда взявшаяся вопреки электронным запорам и потайным пулеметным гнездам. Бороздыня принялся.

– Чем от него так гнусно пахнет?

– Ацетоном, – буднично отозвался Греммо. – Твой квартирант своротил ему регуляцию сахара. Это, я думаю, беда поправимая.

– Регуляция сахара, – мрачно повторил Бороздыня. – Только ли ее? Хорошо бы его связать. Как вы, Иван Миронович, не боитесь так запросто к нему подходить, братья за него? Наверное, я плохо расписал этого дьявола, который внутри.

Заведующий усмехнулся.

– Ты за меня не волнуйся, Егорушка. Хочешь, померимся, на руках? Я тебе фору дам. Никогда не суди по внешности. А гражданина привяжут, когда будут капать капельницу.

Они покинули палату

Иван Миронович рассердился и еле сдерживался, хотя Бороздыня хрюкнул, что означало раскаяние. Желтоватые щеки разругались; вокруг лысины встопорщилась пегая шевелюра. В соседстве с массивным Бороздыней он выглядел уморительной зверушкой. Но Бороздыня припомнил легенду, гулявшую в недрах ведомства: предание гласило, что

Греммо однажды, в стремлении помешать буйному пациенту сбежать и выдать государственную тайну, ненароком сломал тому ногу, когда осуществлял захват. Сломал ее в шейке бедра, и там нога переставала быть ногой, потому что стоял протез, так что Иван Миронович переломил никакую не кость, а титановый стержень. Бороздыня подозревал, что все это вранье – может, протез и стоял, но какой-то другой, уж никак не титановый; наверняка доктора нажились на операции, вставили что-нибудь подешевле, а то и вовсе ничего подобного не было. Но ему вдруг расхотелось мериться силами с Иваном Мироновичем. Черт его знает.

Вскоре Греммо успокоился, взял себя в руки. В кабине лифта он посмотрел на спутника снизу вверх и доброжелательно улыбнулся.

– Ладно, Егорушка, хватит мне пачкать мозги. Тут такая секретность, что шита белыми нитками. Время гениальных одиночек давно прошло. Без помощи со стороны твой террорист никак не мог соорудить такую штуковину.

Бороздыня вздохнул, повел плечами, которым было тесно в наутюженном халате.

– Что рассказывать, Иван Миронович, коли сами знаете. К чему вам это? Меньше знаешь – крепче спишь.

Кабина звякнула. Заведующий вышел в проем, обернулся.

– Анамнез! Правильно собранный анамнез – залог успеха. Мне нет никакого дела до ваших разработок, но пациент – вот он, передо мной, и в голове у него завелся патологический очаг. Чем больше я буду знать об этом очаге, тем лучше для дела.

Бороздыня потер ладони.

– Ладно. Конечно, мы приложили к этому руку... Это наша затея. А куда денешься? – Его голос наполнился горечью. – Страна-то пропадает. Государство дышит на ладан. Лагеря не помогут, современные технологии – это вам не Беломорканал. Как заставить, если не через прямой контроль

умов? Мы разработали метод, и наш герой был ведущим специалистом. Но его перекупили!

Иван Миронович облизнулся.

– Кто?

– Да те, кто обычно! Словно не знаете!

Они остановились перед ведомственным кафетерием. Греммо азартно подбрасывал на ладони ключ от личного кабинета.

– Тогда, наверное, Бенкендорф – это его оперативный псевдоним? Вроде как охранитель?

– Да ничего подобного – расстроено скривился Бороздыня. – Я впервые слышу о нем... Очевидно, он просто бредит.

– Еще бы ему не бредить! Но этот бред меняется... Он становится, – Греммо со вкусом прищелкнул пальцами – кинематографическим, как у нас выражаются. Он делается более структурированным.

Мимо прошел огромный, тучный доктор в просторных одеждах и на ходу приветствовал Ивана Мироновича. Протиснулся в кафетерий, на миг заполнив дверной проем. Бороздыня проводил его взглядом.

– Не надо бы нам здесь маячить, пойдемте возьмем по салатику.

– Перекусим, – не стал противиться Греммо.

Бункеры бункерами, а столовые остаются прежними. Эстетика, рождающая цитадели, выдает себя в шаблонах общественного питания. Собеседники встали в очередь, сня-

ли пластиковые подносы, поставили их на стальные округлые рельсы, покатали вперед – приобретая по ходу салаты, муссы, суфле; поспешая щипцами нахапать хлеба, создавая заторы перед кофейными и чайными машинами. Капитан поваренных войск налил им бульона из поварешки, уронил в макароны по шершавой котлете и поджал губы, когда оба отказались от компота. Для сухофруктов не существует званий и допусков.

Бороздыня нес свой поднос, образовав с ним единое монолитное целое; Иван Миронович преувеличенно балансировал и притворялся рассеянным обеспокоенным чудаком. Сели в углу, друг против друга, и Бороздыня зашептал, почему-то оборачиваясь на огорченный компот:

– С этим государством, с этими людьми управится лишь душегуб планетарного масштаба. Прямое мозговое руководство, гаджетизация населения.

– Только душегуб и справится, – кивнул заведующий. – Егорушка – а на хрена оно вообще нужно, такое государство, с которым справится только душегуб?

Бороздыня закашлялся, посмотрел на Греммо исподлобья. Тот беспечно уплетал оливье.

– Вернемся к теме... Структурированный бред – это как?

– Упорядоченный, – ответил Иван Миронович с набитым ртом. – Проработанный. В этих отчетах начинают прорисовываться события. Они фантастичны, но в них появились причинно-следственные связи. Это довольно странно.

Обычно бывает наоборот: чем дальше заходит процесс, тем бессвязнее построения.

– И что это может означать?

Иван Миронович покончил с салатом и взялся за суп.

– Скоро узнаем. Не исключено, что поток сознания управляется вашим террористом.

Бороздыня проглотил настолько крупный кусок булки, что горло у него вздулось огромным горбом – на секунду.

– Так я и думал. Можем ли мы ожидать нападения?

Иван Миронович высосал из ложки лапшу.

– Можем, Егорушка. Если мозги не развалятся. Ваш младчик должен действовать аккуратно и не бродить по чужим извилинам в грязных галошах.

– На снимке он держится скромно и смирно...

– Он, Егорушка, позирует. Издевается над тобой.

В кармане у Греммо затрезвонило. Он отложил ложку, выцарапал телефон, послушал, хмыкнул.

– Скажи ему спасибо, Тamarочка. И никуда не пускай. Впредь в одиночку к нему не ходи, бери пару. Шокером его, если что.

Иван Миронович отключился и болтанул ложкой в тарелке.

– Что там? – осведомился Бороздыня.

– Наш герой вызвался помогать. Вынести капельницу.

– И как это понимать?

Заведующий закатил глаза:

– Что ж... Самостоятельный вынос отработанной капельницы – почетная обязанность каждого гражданина.

– Я серьезно, Иван Миронович.

– А что серьезно? Серьезно то, что он сравнительно оклемался. И снова взялся за свою писанину.

Бороздыня отставил глубокую тарелку, придвинул мелкую, разрушил котлету.

– Пусть пишет – что такого?

Греммо поднял палец:

– Шуб угнезвился в участке, отвечающем за важные функции. И если пациенту стало лучше, то это означает одно: Шуба там больше нет. Я думаю, он перебрался в другое место. Или хотя бы подобрал свои грабли. При таком мастерстве нам будет не так-то легко его вынуть – если, конечно, мы хотим, чтобы носитель остался в живых.

Гости съезжались на дачу.

Брованов перечеркнул слово «съезжались» и заменил на «приехали». Во-первых, так было правильнее, а во-вторых, первоначальная версия была ему смутно знакома. Он у кого-то читал то же самое.

Трехэтажный каменный особняк высился на пригорке, опоясанным речкой. Вода по милости половодья вышла из берегов и смыла мост. Дрожки, которыми правил последний гость, успели в последнюю минуту. Когда его лошади ворвались во двор, мост тихо снялся и поплыл по реке вокруг особняка. Так он и плавал в дальнейшем, по нему сверяли часы. Особняк с его обитателями оказался отрезан от внешнего мира.

Здание принадлежало двум генералам с фамилиями Точняк и Медовик, кормил их какой-то мужик. Брованов знал обоих, но лишь понаслышке; мужика не знал. Все трое не имели значения. Брованов существовал бестелесно и проводил время в брожении по залам, кабинетам, комнатам и альковам. В особняке было грязновато, если не сказать – паскудно; прислуга разбежалась, за исключением поваров, которые с утра до вечера кипятили сложное варево на первое, второе и третье. Впрочем, сей рацион разнообразился многочисленными готовыми закусками и сладостями, повсюду

валялись обертки от ветчины и конфет. Шатались собаки, напоминавшие об Олтын-Айгуль, но Брованов почти не думал о ней. Она была делом прошлым, подобным утекшей воде.

Сейчас его намного больше занимали гости.

Гостями они, собственно говоря, не были, а просто пестрая компания вольных литераторов собралась на творческий семинар. Впрочем, даже не семинар – скорее, свободный обмен мнениями на всем готовом, а можно было и не обмениваться. Каждый делал, что хотел; собранием предполагалось, что кто-нибудь, если не все, на что-нибудь вдохновится, к чему-нибудь подтолкнется, будучи вырван из обыденного одиночного самоедства. Они сошлись в зале, и Брованов ходил среди них, оставаясь незамеченным. Его сюда никто не приглашал. В камине курились сырые поленья, за высокими окнами тянулись поля нечистого желтого цвета, не до конца освободившиеся от снега. Рассыпались вороны, их карканье не проникало в залу. Заканчивался апрель, начинался ноябрь. На стене скучала гитара. Трой Макинтош, похожий на гамадрила, излагал свои взгляды на деятельность правого мозгового полушария. Он был художник, а не писатель: рисовал гадости; высокий, седой, имея лицо удлиненное, Макинтош неторопливо ходил с откляченным задом и взмахивал рукой.

– Сцепите руки, – предложил он раскормленной даме неясных лет, которая сидела возле камина в старинном крес-

ле с оранжевой парчовой обивкой.

Это была Фаня Гусьмо. Неряшливая, в тысяче одежек, она писала о женской психологии, продовольственных отношениях в браке и высшем промысле.

– Сцепите, – настаивал Трой Макинтош.

Фаня сконфузилась – излишне нарочито для своего почтенного возраста. Она сплела пальцы, и Макинтош склонился над ней, словно принюхиваясь.

– Скрытое левшество, – определил он. – Выложите большой левый палец поверху правого.

– Кладете поверх, – пробормотал Клод Моторин. Он слыл акулой пера – крашенный, краснотубый, гомосексуальный блондин с подведенными глазами, одетый в небесный пиджак и яблочный галстук. Макинтош вскинул голову:

– А?

Моторин презрительно сощурился:

– Пустое...

Он присел перед камином на корточки и принялся шуровать кочергой. К нему присоединился публицист Блок – тихий плешивый человек в вытянутом свитере.

Особняк качнулся, хлынул дождь.

– До чего же часты землетрясения в этой местности, – посетовала Нелли Одинцова, расположившаяся возле окна с чашкой матэ и томиком испанского романиста, заложенным увядшей фиалкой. Бледная во всем, что жило помимо чахоточного румянца, она сочиняла непристойные стихотво-

рения о неистовой любви.

Перед ней на ковре лежал, растянувшись, драматург Кохельбеккер – алкоголик, кокаинист, шулер и неутомимый танцор. Он находился без чувств, и все считали, что он попросту пьян. Брованов задержался у Кохельбеккера. У него возникли сомнения, жив ли тот. За ухом у Кохельбеккера зияла рана, не видная с поверхностного взгляда. Кто-то из присутствующих успел его хорошенько приложить. Брованов нащупал сонную артерию и ощутил слабое биение. Он обернулся, призывая окружающих обратить внимание на тело, но никто этого внимания не обратил – в том числе и на него самого.

– Свободомыслие! – воскликнул Макинтош, и Фаня Гусьмо театрально отпрянула. Ее сильно тошнило, вообще недужилось, однако она изо всех сил старалась этого не показывать и разве что изредка непроизвольно кривила лунообразное лицо.

Пошатываясь, вдруг Кохельбеккер встал – сначала на четвереньки, а потом и в полный рост. Особняк моментально обрел устойчивость.

– Здесь что-то происходит, – пожаловался Кохельбеккер. – Кто-то ударил меня по голове.

Мелькнула тень, и Очаков – литературный критик средних лет и среднего роста, заметил ее. Он был затянут в мундир и воротничок, имея статскую внешность; был стрижен ежиком и бобриком. Поджавши губы, он молча сверкал оч-

ками из темных углов. Брованов заподозрил, что Очаков заметил его – а может быть, не его. Брованов считал, что за этой болтливой и вольной публикой присматривает Бенкендорф. Ему все отчетливее казалось, что Бенкендорф это всего-навсего его собственный псевдоним. Он летал по зале, рассматривая, как неподвижно сидят остальные творческие работники: Фарид Мулат, Ипполитова, Ярема Блудников, Антон Бодунцев и Осип Олифант.

– Что-то новенькое, – изрек Иван Миронович, пробегая глазами очередной лист.

Перед ним лежал список имен, каждое снабжено пометками: странными значками и сумбурными примечаниями. Список был заключен в длинную фигурную скобку, за которой Брованов начертил фамилию: Бенкендорф. Греммо до того увлекся, что высунул язык.

– Дайте посмотреть, – потребовал Бороздыня.

– Смотри, – рассеянно отозвался заведующий. – Ты не понимаешь... – Он уставился на Бороздыню, словно видел насквозь и дальше. Размеренно продекламировал: – Об оряси-ну осел топорище точит, а факир, созвав гостей, выть акулой хочет.

Бороздыня хмурился, переводя взгляд с Греммо на список и обратно.

– У вас острое помешательство, Иван Миронович?

Тот ответил вопросом:

– Как по-твоему, что там перечислено?

– Понятия не имею. Подпольная группа? Экстремисты, сообщники Шуба?

– Не думаю...

Бороздыня взглянул на часы.

– Час уже поздний, Иван Миронович. Вы, небось, хотите

домой пойти?

– Мало ли чего я хочу. Нам, Егорушка, придется задержаться надолго. Вон коечка, поспать тебе, если сомлеешь, – Греммо указал на маленький диван, неспособный принять даже четвертую часть Бороздыни.

– На воду дуете, Иван Миронович. Он же от нас не сбежит. Он испарится в третьем поясе защиты, если не сгорит в первых двух. И не помрет. Шубу нельзя, чтобы он помер – тогда ему самому конец. А мы должны отдыхать.

– Детки заждались? – Иван Миронович изобразил печаль.

– Собака.

– А у меня и собаки нет. Зато привидения – в избытке. Берут за горло, садятся на грудь, дышать не дают... Все спрашивают, спрашивают о чем-то, а я не разберу, гоняю их до утра...

– Не иначе, покойнички...

– Да уж не молодые спортсмены. Совесть моя стариковская изрядно обременена, – Греммо смахнул с лица невидимую паутину, вздохнул. – Он, Егорушка, может от нас убежать, я уверен. И даже готовится к этому, усиленно. Носитель пытается установить с нами связь. Он сообщает о происходящем, – Греммо перегнулся через стол и щелкнул по листу в руках Бороздыни. – Как умеет, по мере сил. К сожалению, я не могу исключить сознательную дезинформацию, хотя ложные сведения были бы, я считаю, более внятно изложены. Возможно, пятьдесят на пятьдесят. Носитель сооб-

щает, паразит напускает туман...

Бороздыня ударил в ладоши, потер руки.

– Если так – к черту сон! Я же гончая, Иван Миронович. Мне нравится брать след. Принимать вызов. Как он, по-вашему, может удрать?

– Пока не знаю. Но это вот... ты давеча назвал мою считалочку помешательством. Оно вовсе не бред, оно памятка. Студенческая галиматья для запоминания черепных нервов. Их в голове двенадцать. Волшебное число! Двенадцать апостолов, двенадцать зодиакальных созвездий...

– Поэма еще была, – подсказал Бороздыня.

– Много чего было! Слушай внимательно: об орясину осел топорище точит. Первые буквы соответствуют нервам – ольфакториус, оптикус, окуломоториус... тригеминус, трохлеарис.

– Уловил, – напряженно сказал Бороздыня. – И что?

– Теперь перечитай список. Все эти дикие имена. Те же буквы, Егорушка. А факир, созвав гостей, выть акулой хочет – абдуценс, фациалис, статоакустикус... глоссофарингеус, вагус, аксессориус, хипоглоссус... Это названия черепных нервов, помесь латинского с греческим. Они в голове. И твой террорист в голове. Улавливаешь сигнал?

– Так, – Бороздыня встал и прошелся по ковро. – Так. Он пытается сообщить нам о местопребывании Шуба?

– Может быть. Возможно, он ничего не хочет, а просто описывает происходящее в черепе. Он же словесник, графо-

ман. Дурная привычка записывать всякий вздор.

Бороздыня погладил себе щеки, словно умылся.

– Фациалис... вроде как это слово уже звучало?

– Молодец! – похвалил его Греммо. – Хорошая память. Звучало, как не звучать – это лицевой нерв. Носителя немного перекосило. И мы читаем в пояснении справа, что... Фаня Гусьмо... кривила лицо...

– Почему же Гусьмо?

– Потому что гусиная лапка... ветвление веточек, научный термин. Околоушное сплетение. А Кохельбеккер ушиблен. Нервус статоакустикус. Вспомни снимок – он там и засел...

– Отчего же тогда Кохельбеккер?

– Оттого, что это двойной нерв. Его улитковая часть есть нервус кохлеарис...

Бороздыня решительно покачал головой:

– Нет, Иван Миронович. Откуда Брованову все это знать? Он не имеет никакого отношения к медицине.

Греммо подмигнул:

– А Шуб? Он – имеет?

– Он, конечно, может иметь. Он знает массу вещей. Но тогда получается...

– Вот и я о том, – кивнул Греммо. – Половина на половину – как варианты. Шуб подсказывает ему... зачем-то. Или не подсказывает, а делает что-то, но их сознания пересекаются – откуда мне знать? Это твои разработки, Егорушка. Я

понятия не имею, на что способны ваши устройства.

Бороздыня вправду заночевал на диванчике.

К его услугам пустовали иные помещения, ведомственный гостиничный комплекс, но он отказался от роскоши. Во-первых, он не хотел удаляться от нестабильного носителя, в состоянии которого могли произойти важные изменения. Во-вторых, он просто устал и уснул, где сидел. Последним, что он принял к сведению, был новый снимок головы Брованова, доставленный из отделения функциональной диагностики. Иван Миронович все показал: Шуб, оказывается, привстал со своего места и вытянул ногу; этим он раздражал пресловутый фациалис – лицевой нерв.

– Неоперабельный террорист, – подытожил Греммо. – На данный момент удаление невозможно даже по жизненным показаниям. Подождем, когда он допустит промах и высунется на поверхность.

– Надо заранее подготовить операционную, – сказал Бороздыня.

– Все давно развернуто. Трепаны и пилы наточены, запасы крови обновлены.

Бороздыня смежил веки, протяжно зевнул. Рот его раскрылся столь широко, что Греммо невольно отпрянул. На другом конце города собака Бороздыни, томившаяся без выгула, восприняла зевок и длинно завывала.

– Отдыхай, Егорушка, – Греммо погасил свет, оставив зеленую лампу.

Бороздыня приоткрыл глаз, потому что тон Ивана Мироновича был, как обычно, язвителен. Тот невинным голосом продолжил:

– Тamarочку прислать?

Далекая собака пришла в исступление и разразилась лаем.

...Массивное существо Бороздыни заворочалось на узком ложе. Белье и платье, его облежавшие, стали несвежими за день; горячий в работе и отдыхе, Бороздыня умел взорвать. При мысли о Тamarочке, которая войдет в жаркое облако неприятного пара, он испытал дурноту. Иван Миронович склонился, вдруг высунул язык и быстро-быстро подвигал им. Это заняло пару секунд, и Бороздыня решил, что ему померещилось. Иван Миронович с довольной миной отступил, соединился с темнотой. Бороздыня принял решение спать. Как водится, он не заметил наступления сна, который мало чем отличался от яви – за тем исключением, что Бороздыню атаковали дьяволы. Приснились сушие черти, сомнений не было; вцепились, прилипли, понаклеились всюду – мелкие, размером в кулак, впились в руки и ноги, визжали, тянули в разные стороны, люто раскручивали Бороздыню на лежаке, не имея, похоже, никакой определенной цели помимо самого вращения. Бороздыня понимал, что спит, но черти, представленные оскаленными комьями меха, выглядели слишком страшно; он не стал дожидаться, когда сно-

видение сменится, и вздумал покончить с ним прямо сейчас. Приподнялся, дернул ногами, намереваясь спустить их на пол, дойти до выключателя и зажечь общий свет, ибо лампа не производила на демонов ни малейшего впечатления. Черти, похожие на мохнатые рукавицы, тоже знали, что терзаемый дремлет, не спит, и то лишь наполовину, а потому, признавая действенность его грозного осветительного побуждения, принимали меры. Встать у Бороздыни не получалось. То есть он вроде вставал, но тут же терял равновесие и падал обратно, потому что пространство кабинета мгновенно менялось, приноравливалось к его желаниям так, чтобы они стали невыполнимыми. Кабинет удлинялся наискосок и вширь, потолок возносился, вожделенный выключатель мчался, вдаль, уносимый бешеной перспективой. В итоге Бороздыня не мог никуда дойти. Он двигал ногами, но шел на месте.

– Будьте вы прокляты! – вспыхнул Бороздыня и встал.

Истинным чудом ему это удалось, и сон осыпался прахом. Сновидец сел, ошалело вертя головой; вернувшись в рассудок, решил обойтись без большого света. Перекурил, раздумывая ни о чем и обо всем.

Личность Бенкендорфа нравилась Бороздыне, и дома он даже держал портрет генерала, которого никто из немногочисленных и редких гостей не признавал в лицо. Бенкендорф боялся вольноотпущенного будущего – боялся и Бороздыня, хотя никогда не формулировал для себя этот страх.

Грядущее виделось Александру Христофоровичу ужасным. На законы Бенкендорф хотел плевать – Бороздыня даже выучил слова, которыми граф уел барона Дельвига, когда тот что-то такое брякнул о законе: «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мною на них ссылаться или ими оправдываться». Граф, хоть и был туповат, смотрел в корень: законность оборачивается хаосом. Одновременно, по горькой иронии судьбы, сам факт существования и присутствия Бенкендорфа подстрекает к тому же хаосу и бунту. Отсюда и надо было плясать: Бенкендорф, угнездившийся в галлюцинациях Брованова, играл зловещую роль. Не иначе, он надеялся взбаламутить всю эту нервную компанию, раздраженную его действиями. Об орясину осел топорище точит. Зовет, стало быть, к топору. Он щелкает общество по носам, подогревая возмущение, и занят как будто полезной деятельностью – пресекает естественную безмозглую вольность, однако на самом деле...

Бороздыня повалился на диван, окутываемый очередным сном – уже без чертей, вообще без чего-либо. Он так и не додумал свою мысль, отягощенную неподъемными аллегориями.

Ярема Блудников – огромного роста дебиловатый эссеист, любитель плоских шуток и отталкивающе физиологичный в поведении, с отвислым животом, возгласил:

– Не забывайте, господа, что мы съехались кое-что обсудить, и на повестке – Дерево Цвет.

Сказав это, он не к месту заржал.

Общество ждало, пока он вернется в чувство; через минуту Блудников объяснил:

– Дерево Цвет, господа, это русский патриотический сон. Кохельбеккер лежал в кресле и растирал голову.

– Поаккуратнее, Блудников. Ни для кого не секрет, что вы провокатор. За нами присматривают и бьют по голове, когда мы говорим лишнее. У меня она, к вашему сведению, просто трещит. А вы уже наплели на сорок лет каторги, и все вам нипочем.

Помолчав, Кохельбеккер добавил:

– Может быть, вы сами меня и ударили.

Ярема Блудников всплеснул руками:

– Что за инвективы! Я прислуживал госпоже Ипполитовой, когда вы свалились!

– А я не утверждаю. Я только намекаю, что злодей может быть среди нас.

В окно шарахнуло ветром, и стекла задрезбужали. Снару-

жи стремительно темнело; вокруг особняка бесновались демоны, сливавшиеся в густое кольцо и опоясывавшие здание. Звезды, мелькавшие среди туч, соседствовали с молниями. С полей колоннами катались многочисленные перекасти-поле; совсем вдалеке пылала скирда. Маленький летательный аппарат, мигавший бортовыми огнями, отважно пробирался сквозь непогоду на высоте четырех верст. Озабоченно ржали лошади, на псарне неистовствовали борзые щенки; голубятня распахнулась, выпустив шумное окрыленное облако, а золотые рыбы в аквариуме дружно перевернулись брюшками вверх и замерли. Лакей принес перемену блюд, и литераторы выждали, пока он удалится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.